

С-375-1 Константин Симонов
36 6/8р



ПИСЬМА ИЗ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМПССАРНАТА ОБОРОНЫ
1945

Цена 40 коп.

К ЧИТАТЕЛЯМ

**Издательство просит присылать отзывы
на эту книгу по адресу:
Москва, Орликов пер., 3.
Воениздат**

V.N. Karazin Kharkiv National University



00762500

4

21
9(437) 1939-1945

48(с1)2

2) Мемориал - Боевое
содружество освобо-
жденных народов
908.

32/39
3288(137)


C-375-17.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ПИСЬМА
ИЗ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Военное Издательство
Народного Комиссариата Обороны
Библиотека
Москва — 1945
Инв. № 3669/95





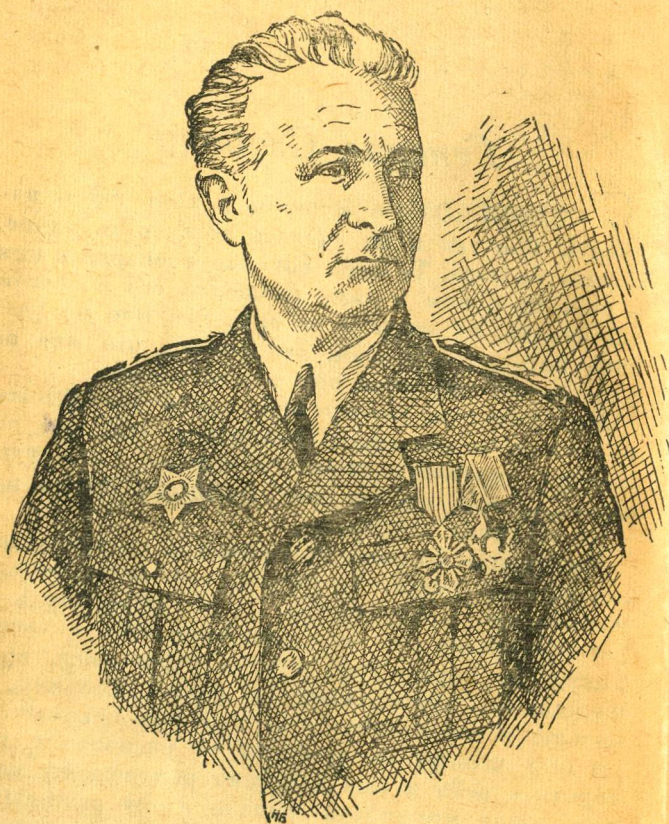
Генерал Свобода

С ЧЕЛОВЕКОМ, о котором я хочу здесь написать, мне так и не удалось поговорить лично, с глазу на глаз. То есть, конечно, я говорил с ним и виделся с ним и даже наблюдал его в боевой обстановке, но когда я говорю, что мне не удалось поговорить с ним, это значит, что мне не удалось поговорить с ним о нём самом.

Мне хотелось расспросить его о его детстве и юности, о его жизни солдата, о том, как он вообще прожил свою 50-летнюю нелёгкую жизнь, о том, как он стал любимцем своего народа и своих солдат.

Но именно об этом мне никак и не удавалось поговорить с ним: то потому, что была боевая обстановка и ему нужно было командовать и распоряжаться, а не разговаривать о своей жизни, то потому, что у него были люди, пришедшие за приказаниями и распоряжениями, а больше всего потому, что, как мне показалось, он был вообще от природы не расположен говорить о себе и был искренно рад всякому случаю, когда что-нибудь мешало этому разговору.

Впервые я встретил генерала Свободу в городе Кошице, куда он приехал для разрешения неко-



торых вопросов, связанных с формированием новых чехословацких частей. Я виделся с ним какой-нибудь час, и, однако, мне всё это время казалось, что ему тут, за 100 километров от фронта, как-то не по себе.

У него, несмотря на его прирождённую мягкость и добродушную улыбку, в то же время было лицо человека, который находится совсем не там, где ему хочется быть в эту минуту.

Он не вспоминал ни о чём, связанном с военными действиями, и, однако, я чувствовал, что этому человеку в тылу как-то не по душе, что ему хочется поскорее уехать туда, обратно, к себе в корпус, домой. Потому что для него домом был именно его корпус, а не какое бы то ни было другое место на земном шаре.

Это было мимолётное свидание. За такое короткое время нельзя ни понять, ни узнать человека; можно только увидеть его и заприметить в нём самое важное и характерное.

Часто говорят о человеке, что в нём чувствуется военная косточка. Иногда понимают под этим солдатскую сухость, резкость, подчёркнутую служебную чёткость. В таких случаях чувствуют в человеке солдата ещё издали, за десять шагов. Бывает иначе. Бывает, что не прочитаешь в человеке солдата, прирождённого военного, не посмотрев ему в глаза. И только когда увидишь его глаза — твёрдые, стальные, всё равно, какого они цвета, — только тогда чувствуешь, что это именно тот, кого называют прирождённым военным.

Именно к таким людям, как мне показалось, принадлежит генерал Свобода. Спокойные мягкие движения, как-то почти по-штатскому просторно сидящий на нём френч, немолодое, чуть усталое

лицо, густые, белые, как снег, зачёсанные назад волосы, и вдруг — глаза: голубые, внимательные, острые и, как мне показалось, ни при каких обстоятельствах не терпящие никакой неправды. Очень суровые глаза на очень добром лице.

Это были первые мимолётные наблюдения.

А потом я попал в чехословацкий корпус. Недалеке слышалась канонада, но было уже поздно, стемнело, и мне думалось, что если генерал и был весь день на наблюдательном пункте, то он уже наверное вернулся. Однако, когда я зашёл в штаб корпуса и спросил, как мне пройти к генералу, на меня посмотрели почти с удивлением.

— Генерала нет, — сказали мне.

— А где же он?

— Как где? На наблюдательном пункте, — с удивлением ответили мне.

— Когда он вернётся?

— Наверное, поздно. Он всегда возвращается поздно.

После долгой дороги я решил заночевать в помещении штаба корпуса и, заснув, как убитый, проснулся только утром в 9 часов. Наспех одевшись, я тотчас же направился к генералу.

— Можно ли пройти к генералу? — спросил я.

— О, идти к нему далеко, — улыбнулся мне один из штабных работников, — километров восемь отсюда. Туда нужно ехать. Он на наблюдательном пункте.

— Давно он уехал? — спросил я.

— Очень давно. Как всегда. Он уезжает очень рано; он уехал туда в пять часов утра, когда ещё было темно.

В этот день мела чудовищная метель. Боевые действия на этом участке фронта происходили в

узкой ложине, окаймлённой с двух сторон дикими, поросшими густым сосновым лесом словацкими горами.

Уперев оба свои фланга в заваленные многометровым снегом скалы, немцы упорно удерживали в своих руках единственную шедшую по ущелью дорогу.

Метель даже по шоссе свирепствовала так, что на ровном месте приходилось откапывать машину лопатами.

Мы свернули с шоссе, и нам пришлось ехать лесной бревёнчатой дорогой, как где-нибудь на Северо-западном фронте в 1942—1943 годах.

— Однако даже и эта бревёнчатая кладка не спасала от метели. На открытом участке длиной метров в пятьсот дорогу так замело, что мне с провожатым пришлось бросить «Виллис» и идти до ближайшей деревни пешком, а там седлать лошадей и ехать верхом на наблюдательный пункт к генералу.

За пять шагов ничего нельзя было рассмотреть. Метель обрушивалась прямо с запада, и я невольно думал о том, как тяжело наступать в эти часы пехоте. Смотреть навстречу метели было почти невозможно, приходилось закрывать руками глаза и отдаваться на волю лошади, которая под снегом нащупывала дорогу.

Наконец, после путешествия, которое, несмотря на расстояние всего в несколько километров, казалось бесконечно длинным, мы добрались до деревни, где прямо посередине улицы стояли тяжёлые полковые миномёты, с визгом палившие по немцам через крыши домов.

Свернув направо в поднимавшуюся на холм улицу, мы добрались до наблюдательного пункта

к генералу. Вначале я не совсем понял, почему эта чуть не до крыши заметённая снегом изба называлась наблюдательным пунктом.

В сенях я попытался отряхнуться от снега и принять хоть сколько-нибудь человеческий вид. В избе на лавках сидело несколько офицеров, а на грубой деревянной табуретке, у такого же грубого деревянного стола, на котором была разложена большая карта, сидел сам генерал Свобода.

Я хорошо знал, что сегодняшний день, как это часто бывает при наступлении, был тяжёлым днём, что немцы беспрерывно контратаковали и что как раз сегодня корпусу удалось продвинуться только на то расстояние, которое, как бы щедро оно ни было полито кровью, всё равно не отмечается в наших скупых и сдержанных сводках Информбюро.

— Неважно сегодня воюем, — сказал генерал.

Это было первое слово, которое он сказал мне после «Здравствуйте».

— Неважно воюем, — повторил он.

Я знал, что корпус выполнил ближайшую поставленную перед ним в наступлении задачу, что вскоре после передышки предстоял новый удар и что эта передышка сама по себе была вполне законной. Но в словах генерала было искреннее недовольство существующим положением. Именно эта, казалось бы, законная передышка его не устраивала.

Его совершенно очевидно бесило то, что немцы осмелились и нашли силы для того, чтобы переходить в контратаки и что ему приходилось сегодня отражать их контратаки вместо того, чтобы сегодня же, сейчас же идти дальше, как ему хотелось.

Как опытный военный он относился к этому спокойно, отдавал соответствующие обстоятельства приказания и тем временем готовил силы для будущего удара. Но как человек, которому уже шесть лет не терпится вернуться в родную Прагу, он был расстроен сегодняшней задержкой настолько, что не мог, а может быть даже и не хотел и не считал нужным скрывать этого.

— Контратакует, — сказал он. — Отбиваем. Но сами продвинулись только на несколько сот метров. А когда начинаем измерять на метры — этого я не люблю. Это плохо даже тогда, когда это временно.

За пять минут до этого генерал посылал с каким-то поручением одного из своих офицеров. Тот вернулся запорошенный снегом и, громко щелкнув каблуками, как это принято в чехословацкой армии, доложил о своём прибытии.

— Ну, как? Видно? — спросил его генерал.

— Так точно, можно наблюдать, — ответил он.

— Ну что ж, пойдёмте на наблюдательный пункт, — обратился ко мне генерал. — Посмотрите своими глазами. Я посылал проверить, видно ли. Говорят — видно.

Мы вышли из хаты, пересекли двор, прошли через какой-то большой сарай и по высокой лестнице-стремянке стали подниматься на сеновал.

Генерал не влез, а, я бы сказал, легко взшёл по этой отвесной лестнице своей почти юношеской, несмотря на его пятьдесят лет, походкой.

В крыше сеновала были прорезаны два отверстия с поставленными в них стереотрубами, глядящими на запад и на юго-запад.

Пейзаж представлял собой покрытые снегом холмы, резко пересекавшиеся узкими лощинами.

Ближайшие холмы были захвачены вчера и сегодня, более дальние принадлежали ещё немцам. Оттуда, из черневшего по гребню холмов леса, из траншей, которые даже простым глазом были видны как тонкие чёрные зигзаги, немцы сегодня весь день беспрерывно переходили в контратаки.

Впрочем, как раз сейчас, в данную минуту, последняя контратака была отбита, и, наоборот, готовился к атаке чехословацкий батальон, на-капливавшийся для этого на исходных позициях.

Метель, как это часто бывает, на полчаса вдруг совершенно затихла, и с наблюдательного пункта было хорошо видно, как чёрные фигуры чехословацких пехотинцев движутся из второго эшелона, поднимаясь вперёд на холмы, откуда они должны были вскоре пойти в атаку.

Сзади из деревни бухали тяжёлые миномёты, и было видно, как на немецких позициях ложатся снаряды, поднимая серо-белые столбы дыма и снега.

Немцы не оставались в долгу: мины ложились неподалеку от дороги, по которой двигался шедший на передовые позиции батальон.

Генерал слегка морщился, когда разрывы ложились слишком близко от дороги.

Это меня не удивляло, несмотря на то, что я узнал уже, как давно он воюет. Это был просто признак большой души и доброго сердца. Он был отцом своих солдат, и он беспокоился за них, за их жизнь, хотя и посылал их туда, где им грозила смерть.

Обзор был очень хорош. Изба, которая выходила фасадом на деревенскую улицу и которая, как мне в первую минуту показалось, непонятно почему была избрана в качестве наблюдательного

пункта, была расположена на самом краю деревни, а её дворовые постройки выходили высоко на гребень холма. Отсюда поле боя было лучше видно, чем из любого другого места на несколько километров в окружности.

Мы выехали обратно в штаб корпуса под вечер. Снег валил крупными хлопьями. Проехать на машине было трудно, и мы ехали на санях. В этом способе передвижения, несмотря на его медленность, пожалуй, есть свои преимущества: лучше видишь то, что не всегда увидишь с машины.

Генерал сидел в санях, опираясь на толстую окованную медью местного изделия палку. На голове у него была высокая папаха, из-под которой выбивались седые волосы. Лицо было обветренное, красноватое, но от этого только ярче выделялись голубые упрямые глаза.

По лесной дороге навстречу ему гуськом шли солдаты, ехали повозки со снарядами, двигались обозники.

Видя, как его приветствуют все эти люди, было нетрудно понять, как он популярен у себя в корпусе.

У нас часто бывает, что командира называют не только командиром, но ещё и разными другими именами, в которые вкладывают душу: называют «батькой», «отцом», «стариком», «хозяином». Говорят: «Старик был» или — «Наш проехал». И это свидетельствует о большой любви к человеку-командиру.

А вот, когда я ехал со Свободой обратно в штаб корпуса, мне показалось, что все встречные солдаты и офицеры козыряют ему именно с этим чувством. И не знаю, как звучит это по-

чешски, по-словацки, да и вообще они не говорили этого вслух, но у меня было ощущение, что в душе они называют его и «батей», и «отцом», и «стариком», и «хозяином», и «нашим».

Это было очень важно, потому что это означало любовь.

В этот вечер, так же как и в предыдущий, мне не удалось поговорить с ним о нём самом. Этого не удалось сделать также и на следующий день. И я даже подозреваю в этом дурной умысел: генерал упорно не хотел говорить о себе.

И, может быть, это даже, в конце концов, было к лучшему. Человек такой удивительной душевной скромности, как он, так бы и не рассказывал мне того, что мне хотелось от него услышать.

Узнав, что мне не удаётся на эту тему поговорить с генералом, офицеры штаба, люди, которые начали воевать вместе с ним простыми солдатами, с охотой и с нежностью к человеку, о котором они рассказывали, напомнили мне о некоторых подробностях жизни генерала, о том, какую жизнь прожил он, прежде чем стать тем, чем он стал сейчас.

Он родился в 1895 году в одном из сёл бедного края — Моравской Высочины. В 1914 году, в 19 лет, он стал солдатом австро-венгерской армии. Как большинство чехов и словаков, ненавидя и презирая государство и армию, в которой он тогда служил, он в 1915 году, при первой же представившейся возможности, перешёл к русским.

Он вступил в чешский легион и в 1917 году в составе 1-й чехословацкой бригады командиром взвода воевал с немцами под Сборовом в районе Тарнопольских укреплений.

Участие чехословацкой бригады в боях против немцев под Тарнополем было глубоко символично. Впервые со времён Яна Жижки чехи выступили против немцев открыто, как вооружённая сила.

Зимой 1918 года, уже в другие, новые времена, попрежнему выполняя свой солдатский патриотический долг в составе всё тех же чехословацких частей, генерал, командовавший в то время ротой, снова дрался с немцами, на этот раз уже в глубине Украины, под Бахмачем.

В 1919 году Свобода вернулся на родину. Он был уже офицером, семья, из которой он вышел, была крестьянская, и когда он, демобилизовавшись из армии, вернулся в родное село, то увидел, что они с братом бедняки, а если разделят хозяйство, то станут совсем нищими. Не желая отнимать у брата свой земельный надел, Свобода тут же вернулся в армию.

Он продвигался по службе медленно, тянул обычную лямку рядового армейского офицера. Он был из тех военных, способности которых редко замечают в мирное время. Только испытания войны, перед которыми они не бледнеют, в то время как теряются другие, только такие испытания вносят поправки в прежние мирные представления и устанавливают истинную цену людей.

К 1938 году Свобода дослужился всего до подполковника, в то время как многие его сверстники, так же как и он участвовавшие в чехословацком легионе, уже занимали в армии самые высокие командные посты.

И когда Германия, с благословения собравшихся в Мюнхене европейских премьер-министров, вторглась в Судетскую область, лишив тем самым чехословаков всякой возможности оборо-

няться в дальнейшем, Свобода почувствовал сердцем патриота и умом старого солдата, что надо готовиться к долгой войне. В те дни он уже думал о чехословацком легионе, который, наверное, скоро придётся формировать за границей, чтобы непримиримо продолжать борьбу с немцами.

Собрав группу солдат и офицеров, Свобода однажды, в период между захватом германцами Чехословакии и объявлением войны Польше, обманув пограничную стражу, тайно перешёл границу и явился в Польшу.

Война в Польше развёртывалась с такой быстротой и сопровождалась такими тяжёлыми неудачами, что полякам было не до формирования чехословацких национальных частей, и легион даже не успел вооружиться.

Уходя от немцев, подполковник Свобода со своими людьми, которые тогда пошли за ним, — а их всего было 300 человек, — в районе Ровно впервые встретился с Красной Армией и с того знаменательного дня навсегда связал судьбу свою и своих солдат с судьбою России.

Осенью 1941 года подполковник Свобода начал в СССР формировать чехословацкую воинскую часть. В то время как на фронте развёртывались тяжёлые сражения первого периода войны, вдалеке от фронта, в Бузулуке, под командованием Свободы, проходили военную подготовку первые чехословацкие роты. Они собирались при всех обстоятельствах воевать вместе с советской армией и поэтому обучались по советским военным уставам и овладевали советским оружием.

В то тяжёлое время это было не только вопросом обучения, но и принципиальным вопросом.

В то время Свобода говорил своим офицерам и солдатам:

— Что бы ни было, как бы ни было трудно, но будущее Чехословакии — с Россией и прежде всего с Россией.

В трудные летние дни 1942 года Свобода написал письмо Сталину, в котором просил отправить чехословацкую часть на фронт. Он чувствовал, что где бы ему ни пришлось воевать с немцами, как бы далеко в глубине России ни произошла эта встреча, — всё равно это будет битва за свободу своей родины, за свободу любимой Праги.

Свобода, его офицеры и солдаты по-солдатски презирали в ту минуту Андерса, который, сформировав свою армию в России, в трудные для России часы предпочёл, вместо того чтобы ехать на фронт, отправиться в Иран.

Свобода хотел показать, что у него и у его людей принципиально противоположные Андерсу убеждения и воззрения на то, что такое честь солдата и патриота.

Но чехословацкую воинскую часть берегли. Это была пока ещё очень маленькая часть будущего великого движения. Её берегли всю осень 1942 года, и только зимой 1943 года в Бузулуке был получен приказ об отправке на фронт.

Для Свободы это был счастливый и торжественный день. Теперь только неделя или две путешествия в эшелонах отделяли его от того дня, когда он, наконец, сможет выполнить свой долг солдата.

Когда на плацу в Бузулуке солдатам были розданы новые русские автоматы, он перед строем солдат взял автомат и поцеловал его.

— Это не просто оружие, — сказал он, — это — символ нашей победы.

В Бузулуке остался формироваться запасной полк, а отдельный усиленный батальон, которым командовал теперь уже полковник Свобода, выехал на фронт под Харьков, где в то время происходило крупное контрнаступление немцев.

Свобода не хотел дожидаться, пока сформируется бригада, которой он должен был командовать. Он хотел командовать пусть батальоном, но сейчас же, теперь.

Батальон прибыл под Харьков в критические дни. Немецкие танковые механизированные дивизии прорывались прямо на Харьков. Нужно было ликвидировать образовавшийся прорыв.

Почти две недели батальон оборонялся на широком, более чем 10-километровом, фронте. Там погиб первый ставший Героем Советского Союза офицер чехословацкой армии капитан Ярош. Там принимали боевое крещение солдаты батальона, встречая немецкие танки огнём из противотанковых ружей и гранатами. Там в мокрую весеннюю метель полковник Свобода, показывая истинное презрение к смерти, сидел в окопах вместе со своими солдатами, не отступая, что бы ни творилось справа и слева.

Именно там обошла солдат и офицеров его крылатая фраза:

«Убивайте немцев, убивайте их во что бы то ни стало! Потому что из любого немецкого ефрейтора впоследствии может вырасти Гитлер».

Когда, наконец, батальон, потерявший убитыми и ранеными половину людей, получил приказ отходить, Свобода отправил в тыл свою машину и двое суток отходил к Северному Донцу пешком вместе с солдатами, останавливаясь, дерясь, задерживая немцев.


Так начался в эту войну боевой путь человека, который командует сейчас чехословацким корпусом, так на реке Мже под Харьковом началась для него битва за Прагу.

И когда слышишь об этом от других, потому что, как я уже сказал, он сам не любит рассказывать о себе, — то становится понятной истинная популярность, которой он пользуется у своих солдат и офицеров.

Это не просто храбрый и умный генерал. Это — народный герой своей страны. Он народный герой потому, что он верил, когда многие потеряли веру. Он не думал о спасении своей жизни, когда многие думали об этом. Он считал себя сыном народа одинаково и тогда, когда он был солдатом, и тогда, когда он стал генералом. Он умел думать о своей родине, забывая о себе, и, что ещё важнее, он своим чутьём настоящего патриота раз навсегда понял и почувствовал, кто истинный и неизменный друг его родины, в союзе и братстве с кем его народ будет счастлив и свободен.

Сына генерала немцы повесили в Чехии. Его жена и дочь исчезли. Он не знает, где они. Его личная судьба не легка, он испил полную чашу страданий вместе со своим народом. И всё-таки, несмотря на всё это, он счастливый отец: отец тысяч своих солдат, которые любят его и верят в него как в отца, верят в его большую душу и не ошибаются. У него и в самом деле седая голова старого отца, пристальные глаза солдата и большая душа — душа патриота.





Встреча в Куманче

ЭТО произошло не так давно в отрогах Карпат, в словацком селе Куманча.

Село, в котором сходились две дороги, имело вид, какой обычно имеют прифронтовые сёла в разгар наступления. Грязносерые от оттепели дороги были изборозжены следами колёс, порыжелые сугробы перемежались с ямами, наполненными бурой водой. У домов впритык стояли остановившиеся на минуту грузовики и повозки, скрипели подводы, ржали лошади, протяжно гудели застрявшие машины, и мимо усталого охрипшего усатого регулировщика, тяжело меся сапогами грязный снег, шла через село пехота, таща за собой подпрыгивавшие на колдобинах станковые пулемёты.

Через село двигались части чехословацкой бригады в ушанках с бронзовыми чехословацкими орлами, ехали обозы русской пехотной дивизии, и среди солдат то там, то здесь мелькали люди в штатских куртках и пиджаках, перетянутых ремнями, в шапках и шляпах с красными ленточками.

В этот и предыдущие дни словацкие партизанские отряды, действовавшие в окрестном районе,

пробиваясь через фронт, выходили на соединение с частями Красной Армии и чехословацкого корпуса. В селе был один из сборных пунктов партизан. Они толкались среди солдат по всему селу, отыскивая друг друга, на ходу узнавая, кто жив, кто убит, кто вышел и кто ещё остался в тылу у немцев.

Недалеко от перекрёстка, где стоял регулировщик, в длинной хате со стенами, иссечёнными осколками, и с выбитыми, заткнутыми чем попало стёклами, помещался обогревательный пункт и столовая.

Двое бойцов-дорожников и трое помогавших им женщин-словачек из этого села беспрерывно варили на большой плите в нескольких котлах и кастрюлях универсальную солдатскую еду, как это часто бывает при таких обстоятельствах, заменявшую и первое, и второе, и вообще всё на свете. Это был суп, в котором варилось много картошки и мяса. Его разливали по тарелкам и снова доливали в котлы и кастрюли воды, и снова бросали туда куски мяса и картошку и снова бесконечно варили.

Кроме двух столов, нашедшихся в хате, был устроен ещё третий — огромный импровизированный стол, сложенный из нескольких десятков немецких пустых снарядных ящиков. Те же самые снарядные ящики, поставленные «на попа», служили вместо скамеек.

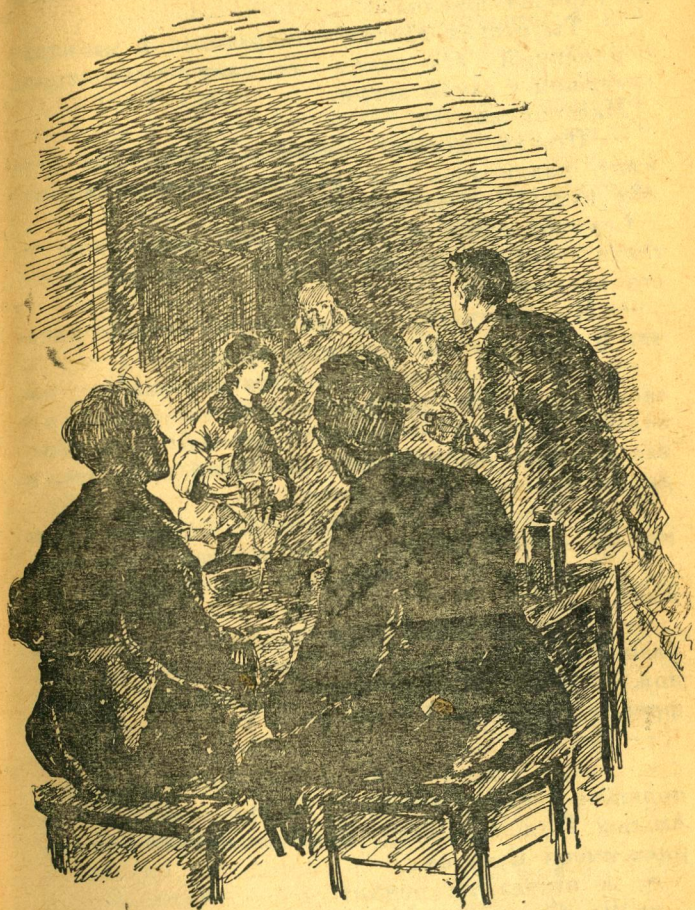
За столами сидели различные люди: легко раненные, завернувшие сюда перекусить по дороге в госпиталь, бойцы с дорожно-комендантского участка, два молоденьких лейтенанта в новеньком обмундировании, видимо, только что назначенные в часть и догонявшие её, и человек 10 чехосло-

вацких автоматчиков, сидевших уже тут целый час в ожидании, когда шофёр исправит стоявший сколо дома, отчаянно ревевший, но не двигавшийся с места, их грузовик.

Из-за того, что выбитые стёкла были заменены фанерой и подушками, в хате было полутемно. Те, кто уже давно сидел здесь, привыкли к этой полутьме, но те, кто только что входил со света, жмурились в первую минуту и пробирались между столами, как слепые, шаря впереди себя вытянутыми руками.

Вдруг дверь распахнулась, и в полосе уличного дневного света появилась маленькая странная фигурка. Это был, несомненно, ребёнок, мальчик на вид лет 13, от силы 14, худенький, узкоплечий, с худым остроносым лицом. И в то же время в этой фигурке было трудно признать ребёнка: так не соответствовало его лицу и росту всё то, что было на нём надето и навешано.

На голову его, низко спускаясь на глаза, была нахлобучена чёрная мохнатая шапка, похожая на папаху, с пересекающей узкой красной лентой. На ногах у него были высокие сапоги с заправленными в них домотканными латанными крестьянскими штанами. Наряд его довершал серозелёный немецкий френч с подвёрнутыми вдвое, почти до локтей, слишком длинными рукавами. Френч был перепоясан широким холщевым поясом с нашитыми на нём карманами, которые, оттопыриваясь, обнаруживали засунутые в них несколько гранат-лимонок. Поверх этого пояса френч был перепоясан ещё вторым кожаным поясом, на котором висел большой немецкий «парабеллум» в треугольной кобуре. Чёрная деревянная



ручка второго револьвера запросто торчала прямо из кармана френча.

— Ты откуда взялся? — обратился к мальчику пораженный его видом сержант-регулировщик, сидевший у самой двери.

Мальчик молчал.

— Откуда взялся? — говорю, — повторил сержант, поднимаясь ему навстречу. — Откуда оружие взял? Кто ты такой?

Сержант стоял вплотную перед мальчиком и, глядя сверху вниз, внимательно рассматривал всё его вооружение.

— Я — партизан, — не смущаясь, ответил мальчик и гордо заложил руки за спину.

— А по какому праву ты два револьвера носишь, если даже офицерскому составу один револьвер положен? — спросил сержант, разглядывая оба револьвера, один, висевший на поясе, и другой засунутый в карман.

— Мне выдали. Я — партизан, — с быстрым и мягким словацким выговором повторил мальчик.

— А документ у тебя есть? — не унимался сержант.

— Есть, — задорно сказал мальчик и впервые разнял руки, которые он до того держал за спиной, — чтобы вынуть из нагрудного кармана френча документы.

— Вот документ.

— Так, — сказал сержант. Близко поднося в полутьме бумажку к глазам, он прочитал там, что Андрей Гога, ефрейтор, является партизаном отряда имени Суворова.

— А откуда ты родом?

— Из Радваны, — сказал мальчик.

При словах «из Радваны» чехословацкий под-

офицер, сидевший до этого за столом, немолодой круглолицый человек с двумя ленточками чешского «Боевого креста» и «Красной звезды» на френче, вдруг поднялся и, взглядываясь в полутьму, спросил:

— Из Радваны?

— Из Радваны, — ответил ещё раз мальчик.

— Слушай-ка, — сказал подофицер, — ты там с какой стороны?

— С той, что от дороги, — ответил мальчик.

— Ты там Гогу Степана не знал?

— Знал.

— А где он?

— В Россию ушёл.

— А откуда ты это знаешь?

— А он мой отец.

В хате на несколько секунд наступило молчание. Подофицер взглядывался в мальчика. Тот, немного привыкнув к полутьме, смотрел на подофицера.

Подофицер стоял, не двигаясь, у стены. Мальчик тоже несколько секунд стоял, не двигаясь, а потом вдруг сделал несколько шагов вперёд, и только тут все заметили, что он сильно хромает, волоча за собой правую ногу.

В хате ещё не было сказано никаких других слов. Но все окружающие каким-то шестым чувством, которое появляется в такие минуты у человека, поняли, что они присутствуют при встрече отца с сыном.

Мальчик порывисто сделал ещё два шага вперёд, споткнулся на хромавшую правую ногу и чуть не упал.

И только в эту секунду неподвижно и как-то остолбенело стоявший до этого подофицер сделал

первое, тоже порывистое движение, шагнул к мальчику и, быстро схватив его за локти, не дал ему упасть.

Так они простояли секунду или две, не двигаясь, а потом отец отступил назад к стене и повёл сына, держа его за локти и глядя ему в лицо. Он его довёл до скамейки, на которой сидел сам, и так же молча посадил его, а сам сел рядом. Повернувшись к сыну в полоборота, отец долго молча смотрел на него.

Трудно сказать, что означал этот взгляд: то ли он смотрел и всё ещё не верил в то, что это его сын; то ли он изучал это так изменившееся детское лицо; то ли, наконец, он просто молча смотрел на сына, подбирая слова, какие можно сказать в эту минуту.

— Ну что ж, здравствуй, — сказал наконец отец, пожав руку мальчику.

Он не обнял его, не поцеловал, а именно подал ему руку как солдат солдату. Если бы его потом спросили, почему он тогда не обнял и не поцеловал сына, он, может быть, даже и не объяснил бы, почему так вышло, но тогда его потянуло именно пожать руку сыну.

— Здравствуй, — сказал сын.

— Ну, как мать? — спросил отец.

— Не знаю, — ответил сын, — давно не был.

— А брат? —

— Не знаю, — повторил сын, — полтора года не был дома.

Они снова оба замолчали.

— А я тебя не сразу узнал, — нарушил молчание отец. — Шесть лет прошло.

— И я тебя не узнал, — сказал сын. — Здесь темно.

— Да, со свету почти ничего не видно, — согласился отец и, помолчав минуту, спросил:

— Ты что же, в партизанах?

— В партизанах, — сказал сын.

— В каком отряде?

— Суворовском, — ответил сын.

— Когда вышли из тыла? — спросил отец.

— Сегодня ночью.

— Что хромаешь?

— Ранен.

— А-е! — протянул отец. — Сильно ранен?

— Сильно.

— Куда идёшь?

— В госпиталь.

— А где госпиталь?

— Тут в деревне, говорят.

— Ну, идём, я тебя сведу.

— Идём.

Оба они поднялись и, молча обходя столпившихся за эти минуты вокруг них людей, пошли к дверям. Отец обнял сына за пояс и незаметно поддерживал его лёгкое тело своей сильной рукой.

— перевязана? — спросил отец, когда они вышли из хаты.

— Нет, — сказал сын.

— Надо перевязать.

— Да.

Они прошли ещё с десятков шагов, сын — сильно хромая попрежнему, отец — поддерживая его. Вдруг отец покосился на пояс сына, который оттягивали три тяжёлые гранаты и «парабеллум».

— Может снять? Легче тебе будет идти?

— Ничего, — сказал сын, — я всё время так хожу.

— Где госпиталь? — спросил подофицер, когда

они подошли к регулировщику, стоявшему на перекрёстке.

— Налево восьмой дом, — буркнул регулировщик, которому, видно, уже в сотый раз за день задавали этот вопрос.

Сын повернулся, сделал два шага и, застонав, припал на ногу и с трудом выпрямился. Лицо его стало в эту минуту белым, как бумага.

— Больно? — спросил отец.

— Ничего.

— Больно, — настойчиво повторил отец.

И вдруг, не спрашивая, после многих лет разлуки ощутив впервые свои отцовские непререкаемые права, подхватил своей правой рукой сына подмышки, левой рукой под колени, легко поднял его на воздух, прижал к груди и, широко шагая, быстро понёс к тому восьмому дому с левой стороны, в котором, по словам регулировщика, должен был помещаться госпиталь.

— Я сам дойду, — пробовал сказать сын, но отец ничего не отвечал.

До сих пор, даже как-то неожиданно для него самого, его сын был для него солдатом, чем-то понятным и почти равным ему, но в эту секунду, когда он поднял лёгкое тело ребёнка и прижал к своей сильной, широко дышавшей груди, он его снова почувствовал тем самым ребёнком, которого он шесть лет назад подбрасывал на руках, шлёпал и снова ставил на пол. И этому ощущению не мешали ни два пистолета, тыкавшие его куда-то и в бок и в грудь, ни тяжёлые «лимонки», висевшие на брезентовом поясе сына, ни самая разлука, длившаяся шесть лет. Это был его ребёнок, причём больной ребенок, которого он нес

лечить. Было только это чувство и больше ничего в ту минуту.

Он донёс сына до здания госпиталя, который помещался в большом белом одноэтажном каменном доме с надписью «Колониальная торговля». Он поднялся по затоптанной грязными ногами лестнице, всё ещё держа сына на руках, и, не спуская его, внес в приёмный покой и, всё так же не спуская его с рук, ждал, когда сидевшая за неудобным круглым столиком сестра регистрирует поступление нового раненого. И потом, вслед за санитаркой, пошёл по коридору в предоперационную палату, куда должны были положить сына.

Он отпихнул ногой дверь и вошёл в палату, и только здесь, спустив его с рук, положил на свободную койку.

Сын лежал на койке попрежнему бледный, зажмурив глаза. Должно быть ему было очень больно. Он притерпелся к боли и ходил, а потом, когда отец взял его на руки, вдруг почувствовал боль. И сейчас, положенный плашмя на эту койку, из маленького человека, старавшегося быть солдатом, стал тем, чем именно он и был на самом деле — смертельно усталым, да к тому же ещё и раненым ребёнком.

Сначала отец стоял рядом и смотрел на него сверху. При его большом росте это мешало ему видеть лицо сына. Тогда он опустился на колени рядом с койкой и совсем приблизил своё лицо к его лицу. Он забыл о том, что стоит на коленях, и когда пришла молоденькая женщина-хирург, он отвечал на её вопросы, всё так же стоя на коленях.

Вслед за женщиной-врачом подошла курносая, толстая, рябоватая сестра. Она сняла с мальчика сначала левый сапог, потом взялась за правый.

Мальчик застонал, открыл глаза, потом снова закрыл их.

— Отойдите, — сказала женщина-врач, — я сама.

Вытащив из кармана своего халата большие хирургические ножницы, тем резким спокойным движением, которым она, наверное, оперировала людей, лежавших на операционном столе, она разрежала сверху до низу правое голенище и, придерживая ногу за колено, резким рывком сняла сапог.

Мальчик только глухо и коротко вскрикнул и замолчал. Пальцы на ноге у него побелели от потери крови, а пятка, куда попала пуля, вспухла и стала лиловой.

— Будете оперировать? — спросил отец у врача.

— Будем, — сказала врач, — но только не сейчас, попозже.

Она смочила ватку каким-то дезинфицирующим средством, обтёрла вокруг рану, перевязала её белым бинтом и отошла, сказав, что через час вернётся старший хирург, который сделает операцию.

Отец и сын остались снова вдвоём.

— Больно было? — спросил отец.

— Больно, — ответил сын.

— Что же не заплакал? — первый раз за всё время улыбнувшись, спросил отец.

— Нельзя, — серьёзно сказал сын и не улыбнулся.

— Когда ранен? — спросил отец.

— Ночью, когда выходили на соединение.

— Пешком шёл?

— Нет, сначала на лошади ехал, а немцы стали стрелять.

— А ты стрелял?

— Стрелял. Но они были далеко, и я не мог попасть, у меня пистолет. У меня лошадь ранило. И меня — тоже. Я соскочил, пошёл пешком.

— А лошадь что?

— Лошади моей попало в глаз. Она упала и сразу подохла.

— Хорошая была лошадь? — спросил отец.

— Хорошая.

— Как её звали?

— Дюри. Сивая. Грива стриженная, а хвост чёрный.

— Седло у тебя было?

— Было. Настоящее, военное.

— Как же ты шёл раненый, много?

— Восемь километров.

— Больно было?

— На морозе было не так больно, а как в хату зашёл, стало больнее. И крови много. Как в хату по дороге зашёл, так заболело.

— Заплакал? — спросил отец.

— Заплакал.

— А потом перестал?

— Перестал.

— Ты сейчас уйдёшь? — вдруг спросил сын после паузы.

— Уйду.

— А какая твоя полевая почта?

— Сейчас ещё не знаю, мы передвигаемся.

— Как же так не знаешь? — удивился сын.

— Не знаю, — ответил отец. — Да мне и писать некому было.

— Плохо, — сказал сын. — Ну, ничего, я узнаю, напишу тебе.

— Хорошо, — согласился отец.

В дверях палаты показался один из чехословацких автоматчиков, сидевших в столовой вместе с подофицером.

— Степан! — крикнул он. — Пойдём, машина готова!

Отец оглянулся, посмотрел на него и, сказав «сейчас, подождите», снова повернулся к сыну.

— Уезжаешь? — спросил сын.

— Да.

— Ну что ж, хорошо, — сказал сын серьёзно, почти по-старчески, словно благословляя собственного отца. — Я тоже скоро пойду.

Отец наклонился над ним. На одну секунду в его глазах мелькнула нежность, какая-то влага показалась в уголках его глаз. Может быть в эту секунду хотелось обнять сына, прижаться к нему, но в следующее мгновение он просто протянул сыну свою большую руку и сказал:

— Ну, ладно, до свиданья.

— До свиданья, — ответил сын, открыв глаза, посмотрел на него и сразу же снова зажмурился от боли. — До свиданья.

Неуклюже ступая по узкому проходу между двумя рядами коек и больше не оглядываясь, отец прошёл к дверям и скрылся за ними.

Сын, открыв глаза, посмотрел ему в спину, следя за ним. Вот он миновал одну, вторую, третью, четвёртую койку, повернул и вышел за дверь. И дверь за ним закрылась.

Мальчик снова зажмурил глаза, и две крупные, должно быть неожиданные для него самого, слезы выкатились из-под его век. Он вытиснул из-под

одеяла руку, поднёс к лицу закатанный бязевый рукав непомерно длинной рубашки и, аккуратно вытерев сначала один глаз, потом другой, так, чтобы никакого следа слёз там не оставалось, снова спрятал руку под одеяло и зажмурил глаза от непрекращавшейся боли в ноге.

* * *

Я увиделся со старым партизаном Андреем Гогой примерно через месяц после этой встречи его с отцом, которая, как часто водится на войне, была одновременно и разлукой.

Называя его «старым партизаном», я говорю это без улыбки. В самом деле, несмотря на свои ещё не исполнившиеся 14 лет, он — один из старых партизан Словакии. Впервые он стал помогать партизанам в конце сентября 1943 года.

— Год и пять месяцев в партизанах, — гордо сказал он мне.

Я быстро посчитал по пальцам и сказал, что, пожалуй, больше, что и все полтора года.

— Нет, год и пять месяцев, — повторил он. — Тот месяц, что я жил здесь в тылу, я не считаю.

Сказал он это очень серьёзно и убеждённо, и я почувствовал в этом ответе его, кроме неожиданной для меня пунктуальности, ещё и большую серьёзность по отношению к своей партизанской работе.

— Как же ты попал в партизаны? — спросил я его.

— Шесть лет назад, когда к нам пришли немцы, отец бежал в Россию. Я тогда ещё был маленький, — солидно добавил он. — Но потом мать мне всё рассказала, и я был против немцев.

Он сказал это с убеждёностью и твёрдостью старшего в семье мужчины.

Решив проверить себя, я спросил его.

— А ты остался после того, как отец бежал, самым старшим из мужчин в семье?

— Самым старшим, — ответил он, как будто слово «мужчина» само собой подразумевалось, когда говорили о нём.

— Когда же ты в первый раз увидел партизан?

— Я ходил в лес за грибами и встретил там разведку партизан. Они мне дали денег и сказали, чтобы я им принёс покушать и сигарет. Я взял деньги, пошёл в село, купил покушать и сигарет и принёс им. Они сказали, чтобы я пришёл через три дня снова в лес и снова помог им.

— А дома ты ничего не сказал матери? — спросил я.

— Нет, ничего.

— Почему?

— Я боялся, что она меня больше не пустит в лес.

— И часто ты носил кушать партизанам?

— Через каждые два-три дня. Четыре месяца ходил. А потом совсем ушёл к ним.

— Почему?

— Они уходили в другое место от нашего села, а я хотел быть с ними. Когда я пришёл в лес и в последний раз принёс им кушать, командир отряда Василь — он был молодой, лет двадцати пяти, — сказал мне: «Мы уходим, Андрей. Пойдёшь с нами?» Я молчал. Тогда он сказал: «Давай, пойдём с нами». — «Давай, пойдём», — сказал я и пошел с ними.

— Что же ты делал у партизан? — спросил я.

— Больше всего я ходил в разведку. Я надевал гражданскую одежду и ходил по сёлам, продавал

яйца. Партизаны давали мне полную кошелёчку яиц. Они покупали яйца по одной кроне за штуку, а я ходил и продавал их по три кроны за штуку и меньше не хотел брать. А немцы не хотели покупать по три кроны за штуку, и никто не хотел покупать. Я спокойно ходил со своей корзинкой.

— Что же ты разведывал?

— Я смотрел, где стоят немцы, где у них орудия и пулемёты.

— А ты артиллерию отличаешь, какая противотанковая, какая тяжёлая? А?

— Нет, — сказал он, — я только объяснял, где большая стоит, а где — маленькая.

— А тебя никогда не задерживали немцы?

— Нет. Только один раз. А то я ходил всегда спокойно. У меня спрашивали, куда я иду. Я отвечал, что иду к бабушке. Бабушка жила в Вольке, а мама в Радване. И все мне верили.

— А на самом деле ты бывал у бабушки?

— Бывал несколько раз. Кушал там у неё.

— Рассказывал что-нибудь?

— Нет, ничего не рассказывал. Она мне только давала покушать, и я уходил.

— А домой не заходил ни разу?

— Нет.

— Почему?

— Я боялся, что мама меня не пустит опять уйти. А потом мы далеко отошли оттуда, а я совсем ничего не знал, как у меня дома. А потом уже недавно, когда наше село освободили, я узнал, что маму и брата немцы арестовали и увели.

— А почему?

— Они узнали, что отец бежал в Россию, а я ушёл в партизаны. И они увели маму и брата. Я ещё не знал даже этого, когда видел отца.

При этом воспоминании лицо его вдруг стало очень серьёзным и не по-детски печальным. Я не нарушал молчания, а он минут пять сидел и ничего не говорил.

— Значит, ты всегда в разведку благополучно ходил? — спросил я, желая перевести разговор на другую тему.

— Только один раз я попался к немцам, и то это было не в разведке.

— А как же это было?

— Это было около Банско-Бистрицы. Партизаны вышли на окраину, и немцы незаметно окружили их. И взяли десять человек в плен. И меня тоже.

— А у тебя было оружие?

— Было. Когда немцы нас окружили, я опустил револьвер в сапог. Нас взяли в плен и посадили на машины. И в каждой машине ехал немецкий автоматчик. Я ехал в кузове машины, я стоял около немца. Он отвернулся, чтобы закурить, а я вынул у него из автомата диск и спрыгнул через борт с машины. Он схватил автомат, а стрелять не мог — у него не было диска. А я убежал с дороги в лес и потом шёл к партизанам по карте. Я знал, где они находятся.

— А ты умеешь разбираться по карте?

— Конечно, — просто сказал Андрей Гога. — Меня учили.

— А пистолет так и остался у тебя в сапоге?

— Да, — сказал он, — пистолет остался у меня в сапоге. Мне пистолет подарил командир отряда Василь. Я его берёг.

— А стрелять тебе приходилось из твоего пистолета?

— Приходилось, — вдруг застенчиво улыбнувшись, сказал Гога. — Сегодня утром мишень повесили на двери и стреляли.

— А по немцам?

— По немцам я стрелял, но в них не попал. Я далеко тогда стрелял. Я их тогда не мог убить. Я их убил, когда в прошлом году бросил в них гранату.

— Как это случилось? — спросил я.

— Мы шли в разведку с партизанами. Только подошли к дороге, а по дороге ехали немцы. Мы стояли за скалой над самой дорогой. У меня была противотанковая граната. Я её взял и бросил впиз, когда проезжала немецкая машина. Она взорвалась. Мы вышли на дорогу. Партизаны нашли трёх убитых немцев. Взяли у них документы и взяли пистолеты.

— А тебе они не дали?

— Чего?

— Пистолета.

— Нет. У меня же был пистолет, вот этот.

Гога внушительно похлопал себя по висевшему у него на поясе «парабеллуму». — Мне не нужен был пистолет, я им отдал.

Он тихо сидел передо мной, этот маленький, худенький мальчик с внимательными глазами, гладко зачёсанными назад волосами и худым, усталым лицом. Кроме висевшего у пояса «парабеллума», в нём не было ничего воинственного и необычного. В неуклюже сшитой, должно быть, специально для него и всё-таки довольно большой гимнастёрке, с тонкой шеей, вылезавшей из воротника, он был похож на всех подростков

в своём возрасте. И в то же время он, Андрей Гога, был старый партизан, за полтора года причинивший немцам, быть может, бóльшие неприятности, нежели несколько взрослых людей, взятых вместе. Он был партизан, узнав о существовании которого, немцы взяли заложниками его мать и брата. Он был солдатом-патриотом, этот худенький мальчик, в нескладной гимнастёрке, с детскими, всё время что-то нетерпеливо вертящими и теребящими руками.

— Что ты теперь будешь делать? — спросил я его, когда почувствовал, что наш разговор подходит к концу.

— Теперь поеду до Берлина, — сказал он просто и убеждённо, как что-то само собой подразумевающееся.

— А в Москву хочешь попасть? — спросил я его, зная, что мечта попасть хоть на неделю в Москву — мечта огромного числа людей в любой из славянских стран, которые я объехал за этот год.

— Сначала поеду до Берлина, а потом до Москвы, — всё так же серьёзно сказал он.

И вдруг, сжав губы, пристально посмотрев на меня, добавил, как что-то самое заветное и давно решённое.

— А потом я хочу быть лётчиком.

Он даже задохнулся от волнения, когда выговорил это слово.

— Обязательно лётчиком? — спросил я.


— Лётчиком, — всё с тем же восторженным выражением повторил он.

— А вдруг тебя не примут, вдруг у тебя глаза плохие.

— Всё равно я буду лётчиком, — повторил он. — Все равно я буду лётчиком, лётчиком! — три раза повторил он.

И я понял по его лицу, что пробовать шутить над этим или пробовать возражать ему было бы не только жестоко, но и бесполезно, — всё равно, он будет лётчиком. Если у него будут слабые глаза, он будет летать в очках, но всё равно будет летать. Если у него будет один глаз, — он всё равно будет летать с одним глазом, как Вилли Пост. Он будет лётчиком! Всё равно будет! Он всё равно добьётся в жизни всего, чего захочет, он, этот старый партизан 1931-го года рождения.





Дочь народа

ЕЛЕНЕ Кишидаевой 24 года. У неё тёмные волосы, простое открытое лицо крестьянки и почему-то чуть-чуть раскосые монгольские глаза. Одета она в сапоги, мужские защитные галифе и заправленную в них шерстяную, тоже защитную рубашку. И совершенно неожиданно при этом мужском солдатском наряде выглядит повязанный на её голове пёстрый бабий платок.

Так вышло, что мне пришлось говорить с Еленой Кишидаевой без переводчика. Она говорила по-словацки, а я старался её понять по-русски. Я спрашивал её по-русски, а она старалась понять меня по-словацки. И, как это всегда бывает, когда встречаются люди из разных ветвей славянского мира, мы всё-таки поняли друг друга, во всяком случае, поняли самое главное из того, что хотел сказать каждый из нас.

Я не ручаюсь в этом очерке за каждую подробность и за каждую мелочь, но за то, что я понял всё самое главное, что Елена Кишидаева рассказала мне о своей жизни, — за это я ручаюсь.

Когда говорят о человеке, что он — сын или дочь своего народа, то так уж повелось, и, по моему, правильно повелось, что подразумевают под этим — хороший сын своего народа или хорошая дочь своего народа.

История этой хорошей дочери словацкого народа, дочери, которой этот народ вправе гордиться, начинается с июля 1944 года.

Отец Елены был коммунистом. Коммунисты в тогдашней Словакии были подпольщиками. Первая обязанность подпольщика — осторожность и сдержанность. Дочь не была посвящена в дела своего отца, она только чувствовала и угадывала, что он борется против немцев, которые были истинными хозяевами в Словакии. Она угадывала это и молчала.

Отец был неразговорчив и суров. Он не стал бы разговаривать на эту тему даже с собственной дочерью.

Елена в это время жила своей отдельной жизнью, о которой она тоже не разговаривала с отцом.

В лесах, неподалеку от села, бродили партизаны. Она носила им продукты, одежду, обувь. Она ходила туда, часто пропадала по ночам, и отец никогда не спрашивал её о том, где она была, хотя, казалось бы, об этом естественно было спросить у молодой девушки. Он не спрашивал, он догадывался. Он ничего не выпытывал, потому что, будучи сам конспиратором, ценил сдержанность даже тогда, когда это была сдержанность собственной дочери и по отношению к нему самому.

В июле 1944 года гестапо арестовало отца Елены. Он спокойно собрал в маленький чемо-

данчик белья и несколько тех мелочей, которые нужны человеку даже в последние дни перед смертью, — полотенце, мыло, трубку, пачку табаку.

Он ушёл из дома, только поклонившись своим домашним и не сказав им ни слова. При этом присутствовали чужие глаза, и, кроме того, он чувствовал, что если те, кто остался дома, не понимают, что им следует теперь делать, то всё равно им уже в последнюю минуту не объяснишь этого. А если они понимают, что им делать, то незачем им лишний раз повторять то, что они знают и сами. Он поклонился молча, долгим, пристальным взглядом посмотрел на своих домашних и вышел.

Через месяц немцы расстреляли отца Елены в концлагере, но об этом она узнала потом, уже когда она была у партизан.

Через три дня после того как взяли отца, старшего брата Елены забрали в словацкую армию и отправили на русский фронт. Через месяц он перешёл к русским. Об этом она узнала тоже только потом, когда уже была в партизанском отряде.

Через неделю после того как забрали брата, она почувствовала тем чутьём, которое рождается у человека от постоянного соприкосновения с опасностью, что скоро придёт и её черед. Завязав в узелок кусок деревенского сыра и краюшку хлеба, она ушла из дома перед полночью, как раз в ту ночь, когда под утро жандармы пришли за ней, но уже в пустой дом.

Она явилась в партизанский отряд имени Пугачёва, который состоял из словаков и бывших русских военнопленных, бежавших из самых различных германских лагерей, начиная от Дахау и

кончая Оппельном, сюда, в Словакию, и теперь вместе со словаками поднимавших восстание против немцев.

Эти русские люди были в Словакии, как дрожжи. Только тогда, когда в квашню положены дрожжи, тесто поднимается быстро и бурно.

Командовал отрядом русский из военнопленных. В прошлом он был не то старший лейтенант, не то капитан. Между собой все его звали Иваном, и настоящей фамилии его так никто и не знал.

— Значит, на нелегальное положение перешли, — сказал Иван, когда Елена Кишидаева пришла к нему в лес. — Уж не сможешь нам продукты носить, а?

— Не смогу, сказала она.

И ей в эту минуту почудилось, что он даже недоволен, что она пришла и не сможет больше носить продукты.

— Ничего, ничего, — сказал он, должно быть, поняв то, что она почувствовала. — Других найдём, чтобы носили. Нам такие, как ты, нужны. Будешь у нас в отряде санитаркой. За ранеными ухаживать умеешь? — строго спросил он её.

— Нет, — ответила она.

— Ну, ничего, научишься, — сказал Иван.

И на этом закончился их разговор.

В августе у Елены было мало работы: партизаны не вступали в крупные столкновения с немцами, раненых не было, и ей за месяц пришлось только два или три раза водить партизан в близлежащее крупное село, где она показывала им дома, в которых жили немцы. Партизаны приходили в село по ночам и казнили немцев судом правым и скорым, единственным, которого заслу-

живали эти мерзавцы и насильники, мечтавшие поработить славянский мир.

Впервые Елена выполняла свои обязанности санитарки под Кролевым Градком, где партизанские динамитчики взорвали железнодорожный туннель. Она пошла вместе с отрядом, прикрывавшим динамитчиков во время их работы. Туннель был взорван, но когда динамитчики отходили, возникла перестрелка, произошёл короткий ночной бой, и Елена по скалам, через лес вытащила из боя двух раненых и одного мёртвого; вернее, когда она его подняла, он был только раненым, но на полдороге умер,— он был ранен навывлет в грудь.

Она поняла, что он умер, почувствовала, как холодеет его тяжело лежавшее на её плечах тело. Однако она его вытащила, даже мёртвого, она хотела, чтобы его похоронили, чтобы тело его не осталось там, у немцев, возле туннеля.

В начале сентября Елена участвовала в первых больших боях под Стречно.

В последних числах августа в Словакии вспыхнуло народное восстание. К восставшему народу, поднятому на бой словацкими и русскими партизанами, присоединилась часть словацкой армии, и целая треть Центральной Словакии в сентябре оказалась в руках восставших.

Мелкие немецкие гарнизоны были уничтожены. Движение на всех железных дорогах, пересекавших Словакию с севера на юг и с запада на восток, было остановлено. Немецким войскам, находившимся в Венгрии и в южной Польше, подвозились снаряжение и боеприпасы по огромной дуге чуть ли не через Братиславу и Вену.

Восстание нанесло немцам неожиданный и страшный удар. Немцы чувствовали это и бес-

поощадно боролись с повстанцами. Повстанцы тоже чувствовали это и дрались за каждую гору, за каждый дом с яростью людей, для которых свобода дороже всего на свете.

В этих боях Елена работала санитаркой в роте Суркова. Сурков был русским моряком, лейтенантом. Он был ранен и в бессознательном состоянии попал в плен к немцам в 1943 году под Ленинградом.

Это был человек неукротимой души. Он дважды бежал из немецких лагерей. Из Оппельна он добрался до границы Швейцарии. Его поймали на границе и посадили в тюрьму. В ожидании суда и смертной казни он бежал снова и добрался до Кельна. Собственноручно убил там заместителя крейслайтера города и в его костюме и с его револьвером в кармане, пользуясь тем, что по дорогам Германии бродило бесконечное число иностранных рабочих, прошёл через Южную Германию, через Мюнхен, через Вену и Австрию, через Прагу и Чехию и добрался до Словакии, где стал одним из самых беспощадных к немцам партизан.

На второй же день после того, как Елена пришла в роту Суркова, разгорелся бой под Стречно. Все мужчины дрались, стреляли, не уходили с того места, на котором они залегли.

Елена была единственной санитаркой в роте. Она вытащила на своих плечах в этот день 7 раненых и двух мёртвых. Когда она видела мёртвого немца, он казался ей мертвецом, трупом. Когда она видела мёртвого своего партизана, он казался ей ещё живым. Она знала, что он уже мёртвый, но она чувствовала где-то бессознательно, что его

ещё можно оживить. И она вытаскивала бездыханное тело в этой странной надежде: она вытаскивала потому, что беспомощное неподвижное тело партизана всё равно было дорого ей, хотя глаза его не смотрели, губы не шевелились и грудь не поднималась от дыхания.

На второй день утром в роту пришла помогать Елене вторая девушка, тоже словачка — Бажена. Но её слегка контузило в самом начале боя, а потом она наткнулась на убитых, на разорванных минами и не выдержала — сама потеряла сознание.

Елена вытащила в этот день ещё 12 человек, 11 раненых и двенадцатую ту, которая должна была помогать ей.

Когда она вытащила Бажену и когда та пришла в чувство, Елена не упрекнула её. Она только сказала:

— Пойди в госпиталь, там тоже нужны девушки. Ты там будешь ухаживать за ранеными, когда их уже перевяжут.

И она снова осталась одна в роте.

Потом фронт передвинулся в горы, 11 дней в горах шли бои. Немцы пытались овладеть горным проходом, но партизаны, хорошо знавшие местность и невидимые в лесу между скалами, все эти 11 дней не пускали немцев.

За все эти дни Елена вынесла только 8 раненых. Больше не было. Она вынесла всех, кто был ранен.

На двенадцатый день её вызвал командир отряда Иван и сказал ей, чтобы она перешла работать в другую роту, которой командовал тоже бывший русский военнопленный Ушаков. Эта рота должна была действовать в районе Липовец,

близ которого она родилась и который хорошо знала, и, как сказал ей Иван, могла быть там полезной не только как санитарка, но и как разведчица.

Во время боёв, которые продолжались около Липовца три дня, она исполняла одновременно обязанности разведчицы и санитарки.

Рота переправилась через реку и действовала против немцев на том берегу. Раненых, которых на третий день набралось 11 человек, нужно было переправить на противоположный берег. Немец обстреливал реку. Каждый боец, каждый партизан был на счету.

Тогда Елена пошла в близлежащую деревню и попросила двух знакомых девушек-словачек — Власту и Веру — помочь ей.

Они сказали:

— Хорошо, мы пойдём с тобой.

И они пошли втроем, добыли лодку и под огнём немцев, которые непрерывно обстреливали реку, перевезли на другой берег всех раненых.

Тем временем, под нажимом немцев, партизаны в другом месте тоже переправились через реку и отступили от Липовца. Елена этого не знала. Отправка раненых в тыл отняла у неё целые сутки, и когда она вернулась обратно и перебралась через реку, она увидела, что партизан там уже нет.

По дороге она подобрала лежавшего под деревом партизана своего отряда. Он был ранен в ногу, потерял сознание, и его не заметили, когда отступали. Елена подняла его на плечи и понесла.

Впереди был узкий мостик через речку. Она удивилась, что партизаны, отходя, не взорвали

этот мостик, но едва она перетащила раненого через мост и прошла шагов сто, как мост взорвался. Оказывается, партизаны заложили в него мину замедленного действия, и если бы она так не торопилась, чтобы доставить раненого куда-нибудь в лазарет, то мост взорвался бы тогда, когда она проходила через него.

В двух километрах от моста она увидела на шоссе машину. Около машины стоял шофёр, словак.

— Чья машина? — спросила Елена.

Шофёр объяснил, что это машина какого-то фабриканта из близлежащего городка, приехавшего к своему арендатору.

— Ты шофёр? — спросила Елена.

— Шофёр.

— Садись в машину!

— А хозяин? — сказал шофёр.

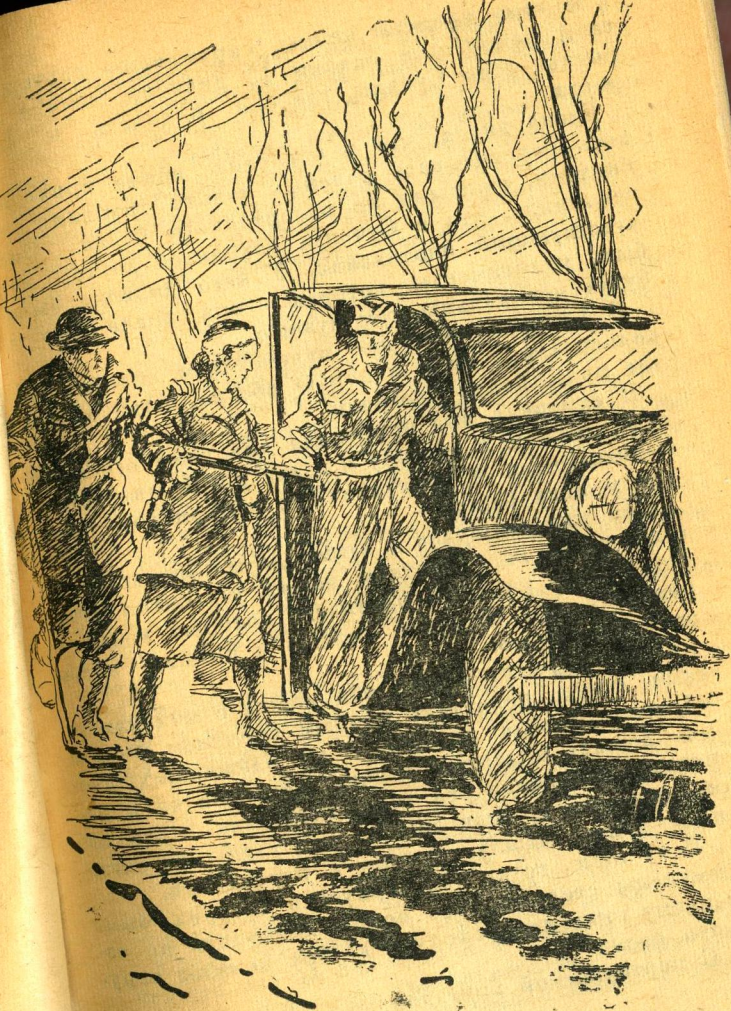
— Садись в машину! — повторила Елена и выразительно скинула с плеча ремень автомата.

Шофёр сел в машину. Елена посадила раненого на заднее сиденье и села тоже сзади, так, чтобы шофёр, который ей не понравился, чувствовал её присутствие за спиной.

Через два часа она довезла раненого до партизанского госпиталя.

Но немцы подходили уже и туда. Там было много раненых, и командир отряда, не дав ей отдохнуть, велел переправлять их подальше в горы. Она достала десять подвод и отправилась в горы вместе с ранеными.

Её отсутствие продолжалось недолго, и про себя она назвала эту неделю отпуском. Этот отпуск её тяготил, и, едва успев сдать раненых, она поспешила обратно.



К тому времени немцы, окружавшие партизанский район уже силами 12 дивизий, заняли её родное село Сучаны, где она родилась и выросла.

Елена знала, что в последнее время приходилось перевязывать раненых только тряпками и бинтами, сшитыми из разорванного белья. Она вспомнила, что в Сучанах находится доктор, сочувствующий партизанам. У него должны были быть медикаменты, которые — она знала это — будут чем дальше, тем нужнее.

В Сучанах немецкие пулемётчики сидели на колокольне и днём и ночью обстреливали открытое поле, боясь партизан.

В сумерках она проползла под этим огнём до села, явилась к доктору и взяла у него два мешка медикаментов и перевязочных материалов — всё, что у него было.

Она уже выползла с этими двумя мешками из села, когда за последним домом услышала стон. Это стонал раненый партизан, который ходил в разведку ещё прошлой ночью и поймал здесь немецкую пулю.

Оставив рядом с ним оба мешка с медикаментами, Елена, пользуясь ночным временем, пошла обратно, вывела из одного из ближайших дворов лошадь и лёгкую бричку, подвезла её к раненому, положила его туда, положила туда же медикаменты и, ведя лошадь под уздцы по снежному полю, вышла обратно к партизанам.

В ту ночь, когда она вернулась в отряд, были получены сведения, что немцы двинулись по соседнему горному проходу и к утру должны окружить отряд.

С партизанской бригадой не было связи. Пар-

тизаны зарыли в снег часть продуктов и, навьючив остальные на себя, пошли напрямик через горы, чтобы вырваться из окружения. В такие дни партизанский закон был суров: каждый брал на себя определённое количество продуктов, предназначавшихся ему самому, и, кроме того, то вооружение и припасы, которые приходились на его долю по развёрстке, сделанной для всего отряда.

У Елены было два мешка с медикаментами. Она имела право, как и все, взять ещё вещевой мешок с продуктами, но три мешка она не могла бы нести. Тогда она часть продуктов, самых питательных, рассовала по карманам, а остальные зарыла в снег. Кроме этих продуктов, засунутых в карманы, она взяла с собой только два мешка с медикаментами.

— Как-нибудь достанем продукты, — сказала она, когда её спросили об этом. — А медикаменты в горах уже нигде не достанем.

Она несла медикаменты и никому не жаловалась.

Партизаны шли две недели, и она голодала. А когда спутники Елены пробовали угощать её из своих скудных запасов, она говорила:

— Нет, у меня ещё есть.

Хотя на самом деле у неё ничего уже не было и она валилась с ног от голода и усталости.

Так или иначе, она перевалила через хребет и донесла свои медикаменты все, вплоть до последнего бинта, к месту назначения.

Отряд соединился с бригадой, и только тут первый раз за две недели в тепле, в охотничьей хижине, где они расположились, она легла навзничь, подложив под голову мешок с медика-

ментами, и почувствовала, как бесконечно она устала и как чудовищно она голодна.

— Елена! — звали её. — Елена!

Но она не отзывалась. Тогда к ней подошли и поняли, что она в полуобмороке. Её накормили всем тем последним, что было, и влили ей сквозь сжатые зубы полстакана водки, и она заснула беспробудным сном смертельно усталого человека.

Немцы подошли вплотную к горам. Елена за эти две недели так натёрла себе ноги, что они распухли и очень болели, болели до того, что она не могла двигаться.

Комиссар отряда запретил ей находиться на передовой. Он приказал ей перевязывать раненых только тогда, когда их принесут сюда, в избу.

Два дня она никуда не ходила. На третий день, когда комиссар с самого рассвета ушёл вперёд, она тоже незаметно пошла вслед за ним и в этот день вынесла с передовой в горы двух раненых, лежавших рядом с ними раненую сестру и пять убитых. Раненых она дотащила до избы, а убитых перенесла через гору и похоронила в ближайшей роще, раскопав руками снег.

На передовой ей помогал легко раненый партизан. С собой она не могла взять бинты и медикаменты, так как ушла тайком. Поэтому, когда она нашла первого раненого, она встала за дерево, стащила с себя верхнюю шерстяную рубашку, сняла бельё и снова надела рубашку на голое тело, разорвала бельё на длинные полосы и этими полотняными полосами перевязала раны.

Они вдвоём с легко раненым партизаном сплели из веток носилки и на них сначала одного, потом другого, потом третьего перенесли всех трёх раненых.

В горах Елена провела вместе с отрядом около недели. Затем их партизанскую бригаду перебросили в район венгерской границы, около Лученца. Там началось новое немецкое наступление. Всё это время она не успевала лечить ноги, и они так напухли, что её пришлось отправить в госпиталь.

Русская сестра парашютистка Анна Столяр, под начало которой отдали Елену, никуда не отпускала её. На третий день Елена, сказав, под каким-то предлогом, что ей нужно уйти на полчаса, сбегала из госпиталя и отправилась на передовую.

Елена пришла на передовую как раз в тот момент, когда к партизанским окопам приближались немецкие танки. Человека, которому доверили единственное в роте противотанковое ружьё, выбрали неудачно: он испугался и бежал. Елена подняла в окопе брошенное им ружьё и подползла к командиру роты.

— Как из этого стреляют? — спросила она.

У командира роты была подбита рука, и он не мог сам стрелять.

— Как стрелять? — повторила Елена.

Он показал ей, как стрелять. Сначала отвести это вот сюда, а потом вот сюда, а потом нажать вот на это.

Она прилегла в окопе, прицелилась и выстрелила. Один раз, второй, третий. На третий раз ей повезло: она попала в танк. Танк загорелся. Потом она выстрелила ещё раз, но во второй танк не попала.

Командир роты не утерпел.

— Заряди ружьё, — сказал он, — заряди скорей!

Она зарядила.

— Дай его мне!

Он приложился щекой и правым плечом к ружью, прицелился и спустил курок левой рукой.

После этого выстрела загорелся второй танк. А третий танк, — немецких танков было всего три, — стал отходить. Партизаны открыли ружейно-пулемётный огонь по отступавшим немцам, и отступление немцев превратилось в бегство.

Ещё в начале боя, когда начался сильный огонь, Елена увидела пасшихся около дороги двух лошадей и завела их за сарай. Теперь эта её предусмотрительность пригодилась. Лошади никуда не убежали. Она зашла в сарай, вывела оттуда обеих лошадей, посадила на них раненого командира роты и ещё двух раненых и отправила их в тыл. Отправив раненых, она вернулась в штаб отряда.

— Как это ты тут оказалась? — набросился на неё комиссар. — Я же тебе сказал, чтобы ты лечила свои ноги и была в тылу.

— Когда я хочу воевать, — вдруг неожиданно для себя вспыхнув, гордо ответила она, — когда я хочу воевать, я на это ни у кого не спрашиваю разрешения.

— Я подбила танк! — добавила она восторженно. — Танк! — и протянула комиссару отряда противотанковое ружьё, из которого она подбила танк.

— Правда? — спросил комиссар отряда.

— Правда, — сказала Елена.

— Хорошо, — похвалил комиссар, — тогда ружьё твоё.

Она носила ружьё с собой безотлучно целый месяц и считала, что никогда не бросит его.

Из-за распухшей ноги её снова хотели отправить в тыл, но она не пошла и продолжала находиться в отряде.

Однажды она, как всегда, таща на плече тяжёлое ружьё, пришла перед рассветом в партизанский взвод, сидевший в засаде. Неподалеку слышался шум мотора.

— Я буду стрелять, — сказала она бойцам. — Я уже стреляла. Я умею. Я буду стрелять по танку, а вы по людям.

Но в утренней полутьме на дороге показался не танк, а мотоцикл. Командир второго взвода толкнул в плечо Елену и шопотом сказал ей на ухо, чтобы она не стреляла по этому мотоциклу:

— Пусть пройдёт. Он всё равно никуда от нас не уйдет.

Но Елена не выдержала. Она выстрелила и зажгла мотоцикл.

В восторге от того, что она так хорошо научилась стрелять, она приложилась, долго целилась и выстрелила в показавшийся броневик. Броневик тоже загорелся.

Когда ночью Елена вернулась в горы, где находился штаб отряда, все уже знали об её удаче и встретили её общим криком:

— Ура, Ленка!

Потом командир взвода разведки взял у неё из рук ПТР и сказал.

— Надо его почистить. Мы его тебе почистим. Да ты и сама почистись, отдохни и переоденься. Смотри, какая ты грязная.

И впервые за это время смутившись, она заметила, что она вся грязная и вся в земле.

После этого случая бригада ещё три дня подряд находилась в боях. Елена была ранена в

ногу, но, несмотря на это, вытащила ещё четырёх раненых.

Немцы окружали бригаду всё теснее и теснее. Два дня партизаны шли через горы с хребта Низкие Татры на хребет Высокие Татры. Там, наконец, оторвались от немцев, около двух недель отдыхали и приводили себя в порядок. Они жили в бывшем лагере, куда когда-то приезжали богатые туристы со всей Европы.

На пятнадцатый день в отряде начали шутить: — Ну что же, путёвки кончились. Надо снова спускаться к немцам за продлением путёвок. Надо воевать.

Но немцы, которых какой-то предатель провёл в горы, напали первыми. Туристские домики, в которых размещался штаб бригады, были окружены немцами.

Это было ночью. Партизаны уходили, отстреливаясь. В числе работников штаба был один судетский немец, который находился уже год с партизанами. Он работал переводчиком и писарем, и после года работы ему в последнее время начали доверять. Он находился в одном домике с Еленой.

Когда эти дома окружили немцы, их соотечественник, который, как многим казалось, уж бесповоротно связал свою судьбу с партизанами, тайком от всех залез под кровать и хотел остаться.

Елена уходила из дома последней. У неё остался маленький мешок с медикаментами, который она ни за что не хотела бросить. Она полезла за ним под кровать и увидела там немца. Она вытащила его за шиворот из-под кровати и толкнула к стене. Он пытался броситься на неё,

но она отскочила от него на два шага и расстреляла его очередью из автомата.

Всё правое крыло домика занимали сложенные там партизанами продукты. Елена понимала, что она не может их вытащить, но она не хотела и оставлять их немцам, которые во время похода в горах нуждались в продуктах почти так же, как и партизаны.

Она забежала в кладовую, где, как она знала, стояла банка с бензином, вернулась в домик, облила продукты бензином и зажгла их и только после этого, освещённая пламенем загоревшегося дома, среди свистевших кругом пуль, побежала вслед за своими.

Через две недели после этой ночи, перевалив через хребет и прорвавшись ночью через оборону немцев, партизанский отряд, в котором была Елена, соединился с наступавшей Красной Армией.

Я сейчас подхожу к тому моменту истории жизни Елены Кишидаевой, о котором я как-то даже боюсь рассказывать. В предыдущем очерке о словацких партизанах, который я назвал «Встреча в Куманче», я рассказал о том, как после соединения с Красной Армией встретились отец с сыном. Сегодня мне придётся рассказать о встрече сестры с братом. Конечно, не все партизаны, которые выходят из окружения, встречают своих родных и близких. Конечно, когда в двух очерках рассказываются подобные случаи, это звучит совпадением. Но, мне кажется, в таком, казалось бы, неожиданном совпадении есть в то же время и какая-то закономерность. Люди, которые борются за свою родину внутри неё, которые избрали себе судьбу партизан, в конце концов должны встретиться с людьми, которые бо-


рются за свою родину во вне, прорываются, идут к ней, которым не терпится вступить в её пределы. И если таких встреч произойдёт не две, а тысячи за эту войну, то тем лучше. Всё равно, это будет не литературной выдумкой, а законом жизни.

В тот день, когда их бригада пробивалась на соединение с Красной Армией, Елена под отчаянным огнём вынесла последних двух раненых. Она вынесла их уже на территорию, занятую Красной Армией. И в селе Святой Петер, куда партизаны пришли на второй день после соединения, она увидела своего старшего брата, которого восемь месяцев назад забрали в словацкую армию. Семь месяцев назад он перешёл к русским и сейчас, как какое-то небывалое чудо, ехал ей навстречу в танке по улице Святого Петера. Люк был открыт. Он стоял в башне, и Елена сразу узнала его ещё за 20 шагов.

Брат остановил танк, соскочил с него, подошёл к сестре, чёрный, замасленный, долго обнимал её и целовал, исколот ей все щёки своей небритой бородой, измазал их маслом и копотью и снова сел в танк и, помахав ей рукой в кожаной перчатке, уехал дальше.

А она стояла и восхищённо смотрела ему вслед, хотя она сама, безусловно, была героиня, но женщина всё-таки женщина, а мужчина — мужчина, и женщине свойственно беспредельно восхищаться мужчиной, особенно когда это её брат, да ещё, вдобавок, танкист, великолепным видением поднимающийся из чёрного люка могучей «Тридцать четвёрки».





Танкист из Праги

НЕДАВНО в чехословацкой танковой бригаде я встретил человека с суровым, словно каменным, лицом и суровой судьбой. После чёрных дней вступления немецких войск в Прагу он первый раз позволил себе улыбнуться только тогда, когда своей рукой убил первого немца. Он счастливо вздохнёт до конца всей грудью только в тот день, когда пройдёт по камням пражских мостовых.

Я говорю о Герое Советского Союза, командире чехословацкого танкового батальона капитане Рихарде Тесаржике. Я увиделся с ним в маленькой полуразбитой во время боёв и кое-как залатанной хате, около которой стояли три замаскированных танка с длинными новыми пушками.

В хате была всего одна тесная комната, где сидели и связист, и начальник штаба, и сам Тесаржик. Он поднялся мне навстречу, и его высокий рост особенно бросился в глаза в этой комнате с низким потолком.

Тесаржик был высок и худощав, лицо его, пересечённое наглухо закрывшей левый глаз чёрной повязкой, дышало спокойствием.

Он говорил о войне серьёзно и даже, я бы сказал, чуть-чуть мрачновато. Война была для него тем необходимым состоянием, в которое он был поставлен своей преданностью родине, и войну эту он считал не на дни, которые он провёл в ней, а на километры до Праги, которые ему остались.

Что же до немцев, которые стояли на его длинном и, казалось, бесконечном пути, то смерть их была необходимым условием для его возвращения на родину. Только и всего. Он ненавидел их. Он прорубался все эти годы сквозь них, как прорубают просеку в непроходимом до этого лесу.

Тесаржик родился тридцать лет тому назад в семье владельца небольшого магазина. В 1937 году, как, однако, и большинство его сверстников, он пошёл по призыву рядовым в армию.

В дни, когда два трусливых правительства двух храбрых народов продавали Гитлеру в Мюнхене Чехословакию, Тесаржик со своим полком стоял гарнизоном в мощном бетонном судетском укрепленном поясе, который в те дни ещё защищал страну от немцев, а через несколько дней был оставлен без единого выстрела.

Даже сейчас, когда наши войска освободили почти половину Чехословакии, я чувствовал, что Тесаржику неимоверно больно вспоминать эти осенние дни 1938 года. Он рассказал мне, как солдаты ждали войны, как они готовы были к ней, как им было известно, что Россия, в случае выполнения обязательств другими союзными с Чехословакией государствами, готова была немедленно помочь их стране. Солдаты знали, что

на территории Чехословакии были приготовлены аэродромные площадки для русских самолётов, что на этих аэродромах сидели русские офицеры, готовые к приёму советской авиации. Солдаты ждали и хотели войны, потому что, как бы ни казалась она человеку противоестественной и страшной, но бывают минуты в жизни Родины, когда хочешь войны, предпочитая её позору...

15 марта, шесть лет тому назад, немцы вошли церемониальным маршем в лишённую теперь всяких укреплений Чехию, объявили Словакию самостоятельным марионеточным государством, а венгры, торопясь в свою очередь урвать себе кусок территории, перешли чешскую границу с юга и стали наступать на Южную Словакию и Закарпатскую Украину.

Там, недалеко от Вальево, возле Новицкого замка, 15 марта 1939 года Тесаржик получил первое боевое крещение. Их полк стоял в горах. На всей окружающей территории это была единственная воинская часть. И они, однако, решили защищаться. В первый день боя Тесаржик командовал отделением. На следующий день был убит командир его взвода. Он стал командовать взводом.

Венгры сначала не ожидали сопротивления и смело шли по горному проходу. В этом узком горном проходе чехословацкие солдаты устроили им засаду, венгры сначала остановились, а потом отступили. На следующий день они собрали силы и снова начали наступление.

Семь суток в этом горном проходе шли бои, не принесшие венграм успеха; они применяли артиллерию, миномёты, потом выслали бомбарди-

ровщиков, но выбить полк не могли. К концу седьмого дня в полку иссякли почти все боеприпасы, то есть, собственно говоря, снаряды к нескольким орудиям, которые были в полку, кончились уже три дня тому назад, но приходили к концу и патроны, а между тем не знали даже откуда можно было получить что-нибудь. Из тыла? Но едва ли можно назвать тылом объявленную самостоятельной Словакию и захваченные немцами Моравию и Чехию.

Впереди были венгры, сзади — немцы, кончились последние патроны. Не желая напрасно губить людей, веря, что в будущем ещё предстоит долгая борьба с немцами, командир полка приказал им сначала отступить, а потом расходиться, кто куда может.

Они были совсем одни среди затопившего страну моря чужих войск, некоторые из них остались в Словакии, некоторые горами пробрались в Югославию, некоторые пытались пробиться домой в Моравию и Чехию.

2 марта Тесаржик добрался до Моравии и оттуда двинулся домой в Прагу, хотя, по совести сказать, чувствовал, что ему там нечего делать. У него уже тогда была мысль перебраться через горы в Россию. Но это было серьёзное дело. Это нужно было подготовить так, чтобы действительно добраться и не пропасть задаром по дороге.

С апреля по август Тесаржик жил в Праге. В стране понемногу возникали подпольные организации, через которые узнавали, что делается за границей и где, как и куда можно пробираться.

В том, что в Европе должна разразиться война с Германией, никто не сомневался, люди

ждали этой войны и готовы были принять в ней участие.

У Тесаржика ещё не всё было готово к переходу границы, когда ему пришлось покинуть Прагу, скорее, чем он думал.

Он и трое его товарищей — унтер-офицеров зашли днём в одно из пражских кафе. У людей, служивших в чехословацкой армии, был в то время обычай носить штатские костюмы, перешитые из своих военных кителей. Они ходили в штатском, но каждый видел, что это — бывшие солдаты, и они издали, в свою очередь, узнавали друг друга, готовились в душе к новому будущему братству по оружию.

Когда Тесаржик и его трое товарищей расположились за столиком в дальнем углу кафе, к ним подошёл подвыпивший немецкий офицер, находившийся в большой компании немцев.

Слегка пошатываясь уже на нетвёрдых ногах, он приказал кельнеру подать на стол к чехам бутылку вина и, налив себе в рюмку, предложил им выпить за германскую армию.

Тесаржик, с трудом сдерживаясь, ответил, что они уже пили сегодня и больше не хотят пить.

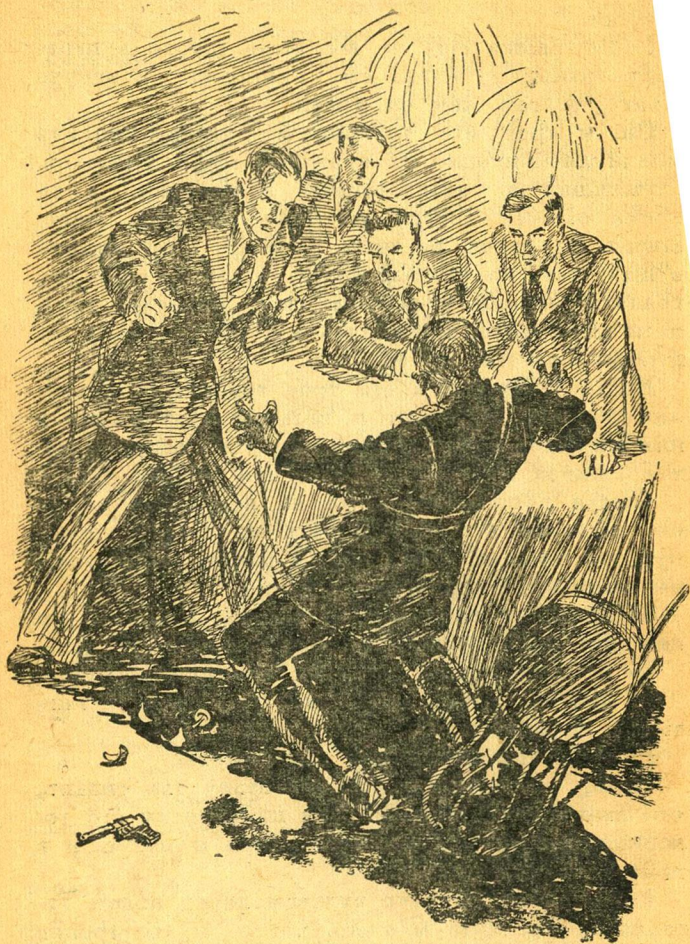
— Я приказываю, — сказал немецкий офицер.

— Мы не хотим пить, мы уже пили, — повторил Тесаржик.

— А я вам всё равно приказываю.

Немец стукнул кулаком по столу так сильно, что заинтересовавшиеся этим инцидентом его товарищи вышли из-за своего стола и подошли к нему.

Когда немец стукнул кулаком перед носом Тесаржика, тот хотя и очень хотел и внутренне уговаривал себя сдержаться, но не выдержал и



коротким ударом в зубы свалил немца. Немец вскочил и вынул пистолет. Тесаржик выбил у него пистолет, ударил немца ещё раз. В ту же секунду на выручку своего бросились все немецкие офицеры. На помощь Тесаржику в свою очередь пришли его товарищи.

Прежде чем немцы успели применить оружие, двух или трёх из них Тесаржик и его товарищи уложили ударами кулаков и через заднюю дверь выскочили, преследуемые выстрелами.

После этого, ожидая ареста, Тесаржик не возвращался домой и полмесяца скрывался в окрестностях Праги.

В то время ему удалось точно узнать, что в Польше находится бежавший через границу, неизвестный дотеле подполковник Свобода, который формирует там чехословацкий легион. 10 августа Тесаржик тайно заехал в Прагу за товарищем, с которым он собирался бежать, а 13 августа они вместе перешли польскую границу в Моравии, в районе Тешина. Переход границы был в то время опасным делом. С чехословацкой стороны стояли усиленные немецкие пограничные отряды. Но и польские пограничники, прежде чем с ними удалось бы поговорить, могли застрелить перебравшегося через границу подозрительного человека, тем более, что в эти предвоенные дни немцы пачками переправляли именно через эту границу своих шпионов.

Зная, что по ночам граница охраняется строже, и считая, что темнота не искупает этого обстоятельства, Тесаржик с товарищем пошли на смелый шаг и решили перейти границу при свете солнца. Они переправились через границу в 8 часов утра, в немецкий кофейный час. Они пролезли и

проползли через неё как раз там, где было наибольшее количество проволочных заграждений и других препятствий. Должно быть именно потому, что за этим участком меньше следили, они пробрались благополучно.

Через несколько дней они попали в Краков и явились к подполковнику Свобода. Это было 24 августа, за неделю до начала польского похода Гитлера.

Свобода, как сейчас вспоминает о нём Тесаржик, был тогда уже почти таким же седым, как сейчас, но, пожалуй, шесть лет разлуки с родной теперь несколько состарили его. Тогда он выглядел, несмотря на седины, моложе.

Свобода не терял времени и уже организовал в Кракове подофицерскую школу, в которой Тесаржик как опытный подофицер стал инструктором.

Но Тесаржик пробыл в школе всего полторы недели. Началась война, и его вместе с двумя десятками других подофицеров поляки отправили в Тарнополь, где они были предназначены для службы в противовоздушной обороне. У них не было зенитных пулемётов, но им дали несколько ручных, и они сумели приспособить их и прикрывали этим огнём Тарнополь от немецких налётов.

Сначала немцы беспрепятственно летали на стопятидесятиметровой высоте, но потом Тесаржику и его товарищам удалось из своих импровизированных зенитных пулемётов сбить два немецких самолёта, и вновь прилетавшие стали держаться на более приличной высоте. Так продолжалось до 18 сентября, когда в Тарнополь вступила Красная Армия. В этот день произошла

встреча будущего танкиста с русским танком. Тесаржик шёл по улице и увидел стоявший на перекрёстке один из вошедших в Тарнополь русских танков, командир которого, стоя в башне, спрашивал у жителей дорогу.

Тесаржик тогда ещё был пехотинцем и не думал о том, что через три или четыре года он сам будет стоять вот так же в башне почти такого же русского танка и так же спрашивать дорогу у жителей и так же двигаться вперёд. Тогда он не думал об этом, но потом, много времени спустя, ему всегда казалось, что в этой встрече было что-то для него символическое.

Через несколько дней после этого Тесаржик вместе со всеми теми офицерами и солдатами, которые пришли к Свободе, попал в Советский Союз и остался там. Солдаты и офицеры, пришедшие вместе со Свободой, в пределах Советского Союза стояли военным лагерем в глубине страны, сохраняя свою воинскую организацию. Они стремились не тратить времени и, в ожидании будущих боёв, учились и совершенствовали свои военные знания.

В 1940—1941 годах, когда уже европейская война была в разгаре, но Гитлер ещё не напал на Россию, многие из офицеров и солдат выразили желание уехать драться на Ближний Восток и во Францию. Они поехали туда, но многие из них так и не успели попасть на поля сражения Франции, уже занятой немцами, и принуждены были четыре года ждать в Лондоне минуты вторжения на континент.

Тесаржик не поехал вместе с ними. Он разделял мнение своего начальника подполковника

Свободы, что из России до Чехословакии ближе, чем из любой другой точки земного шара.

Он учился и ждал. В 1942 году, ещё до вступления в бой, он успешно окончил офицерскую школу ротмистром, в чине, примерно соответствующем нашему званию младшего лейтенанта.

Кроме военных занятий, у Тесаржика было ещё одно дело, которым он занимался так же упорно и неукоснительно, — он изучал русский язык. Он хотел безукоризненно читать по-русски и говорить. Он знал, что ему придётся воевать бок о бок с русскими. Он хотел, чтобы русские офицеры и солдаты, с которыми он будет воевать вместе, поняли его точно так же, как бы они поняли бывшего на его месте русского человека.

В январе 1943 года Тесаржик, наконец, погрузился в эшелон в составе 1-го чехословацкого отдельного батальона и выехал на фронт.

Его первое боевое крещение произошло в невыесные дни оборонительных боёв под Харьковом. Война повернулась с самого начала к Тесаржику и его товарищам своей самой жестокой стороной, и когда они в этих условиях выдержали и не дрогнули, это означало, что они сделали самую серьёзную пробу и заслужили право называться истинными и верными союзниками Красной Армии.

В первых боях у Соколова Тесаржик командовал взводом. На второй же день был тяжело ранен его командир роты, подпоручик Кутлиц. Тесаржик отправил его на грузовике в тыл. Ротой пришлось командовать Тесаржику.

Часть батальона стояла за рекой Мжой, а рота, которой командовал Тесаржик, — позади реки. В трудную минуту, поддерживая своих товари-

щей, стоявших на том берегу, он повёл свою роту по льду в контратаку, выбил немцев из находившихся на том берегу хат и именно там убил своей рукой первого немца. Он вскочил в первую хату в то время, когда оттуда, распахнув дверь, хотел выскочить немецкий фельдфебель. У Тесаржика был в руках наган с уже расстрелянным барабаном. Он быстро перевернул его, размахнулся и рукояткой пробил голову немцу.

В роте были большие потери, потому что река была слишком ровной и гладкой, как каток, а немцы били по наступавшим из миномётов. Но, так или иначе, рота вышла на тот берег и удержалась там. Это было 9 марта 1943 года.

Бои продолжались две недели. Две недели чехословацкий батальон на широком фронте своего участка, медленно отступая, сдерживал немцев.

Уже потом, когда вышли на переформирование, Тесаржику при воспоминании об этих боях хотелось потрогать себя и лишний раз убедиться, что он после всего пережитого не только жив, но даже и не ранен. За эти бои он был произведён в подпоручики и награждён первым советским орденом «Красная Звезда» и чехословацким «Боевым крестом».

Вскоре было решено формировать чехословацкий батальон. Тесаржик вспомнил свою, показавшуюся ему симптоматической, встречу с русским танком и одним из первых вызвался ехать в Тамбовское танковое училище, где они должны были проходить подготовку.

Училище Тесаржиц закончил к осени 1943 года и был назначен командиром роты лёгких танков Т-70. Танковый батальон в составе чехословацкой бригады, под командованием уже полковника

Свобода, был переправлен на Заднепровский плацдарм, севернее Киева.

Первой операцией, в которой принимал участие Тесаржик уже в качестве танкиста, было освобождение Киева. Утром 5 ноября, — этот день Тесаржик хорошо запомнил, — его танки развернулись по сторонам от дороги, шедшей прямо на Киев, и двинулись вместе с пехотой вперёд. У окраин Киева немцы, уже обойденные глубоко с запада и принуждённые начать отход, пытались задержать наступающие танки огнём из противотанковых пулемётов и пушек.

Тесаржик использовал преимущества своих маленьких танков — их подвижность и маневренность и, подавая сам пример, приказал всем своим танкистам идти только с открытыми люками для лучшего наблюдения за полем боя. В данном случае это оказалось верным приёмом.

Прикрываясь домами окраины, маневрируя между ними, рота Тесаржика уничтожила несколько немецких противотанковых пушек и по освободившейся улице выскочила прямо в город.

Ровно в 6 часов вечера — Тесаржик заметил это время по часам — он на своём танке прорвался к центру города и остановился в конце широкой и, видимо, когда-то прекрасной улицы, окаймлённой по обеим сторонам чудовищными руинами огромных домов. Впоследствии он узнал, что эта улица называлась Крещати́ком.

Чехословацкая бригада полковника Свобода была отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего в числе частей, освободивших столицу Украины — Киев. Это была первая лепта, внесенная чехословаками на алтарь общего

дела освобождения славянских земель от немецкого ига.

Из Киева Тесаржик двинулся вместе с частями, преследовавшими немцев, в направлении Житомира. Немцы отступали так поспешно, что не успевали взрывать мостов, и танки шли за ними по пятам.

Следующий бой разыгрался под городом Черняховом. Когда Тесаржик вступал в бой под Киевом, у него было 10 танков; два из них были повреждены в киевской операции. Теперь у него осталось 8.

Под Черняховом был поистине жестокий бой. У немцев на окраине было сосредоточено очень много противотанковой артиллерии, были также закопаны танки, и когда Тесаржик попытался прорваться прямо на город, в первые же полчаса боя он из 8 своих танков потерял сожжёнными 4. Он отступил, сделал глубокий обход и ворвался в город неожиданно для немцев с западной стороны. Здесь, в городе, он потерял ещё один танк, но оставшиеся три, вместе с ворвавшейся за ними пехотой, сделали своё дело. Они били из пушек и пулемётов в спину немцам, ещё дерущимся на восточной окраине города. И когда немцы дрогнули и побежали, Тесаржик гнался за ними по улицам и давил их гусеницами, давил так, что после боя катки танков были красными от крови.

На следующий день или через день — Тесаржик сейчас уже точно не помнит — немцы начали сильные контратаки в направлении Черняхова. У Тесаржика к этому времени оставалось только три танка, причём один из них — его собственный — был так побит, что едва мог двигаться.

Когда начались немецкие контратаки, Тесаржик закрепил свои танки на том участке, который ему дали для обороны, в стороне от Житомирского шоссе, и вёл из них огонь как с неподвижных огневых точек.

Немцы целый день контратаковали пехотой и танками. Со своих хорошо замаскированных позиций Тесаржик в этот день подбил и зажёг 12 танков и бронетранспортёров. Должно быть во время боя немцы засекли всё-таки его позицию и решили ночью разделаться с ним.

Глухой ночью, когда смертельно усталые танкисты дремали, не вылезая из танков, две роты немецкой пехоты тихо подошли к позициям, занимаемым Тесаржиком. Им оставалось пройти всего полсотни метров. Рядом с танками в яме стоял «Студебекер», пришедший ночью с бензином.

Кто-то из немцев, шедших впереди, видимо, сочтя его за танк, бросил в него противотанковую гранату. Раздался взрыв, и «Студебекер» запылал. Танкисты увидели освещённую этим гигантским факелом густо шедшую прямо на них немецкую пехоту.

Всё решалось долями секунды. Вывести закопанные танки сразу не было возможности. Всё зависело от того, успеют ли танкисты открыть огонь, прежде чем немцы войдут в мёртвое пространство, не простреливаемое ни пушками, ни пулемётами танков.

Танкисты Тесаржика успели. Они открыли в упор огонь из пушек и пулемётов и уложили 150 немцев. Остальные бежали. Нескольким немцам удалось все-таки подбежать к танку Тесаржика, но укоренившаяся в Тесаржике при-

вычка воевать с открытым люком помогла ему. Не растерявшись, он схватил лежавшую у него в башне гранату «лимонку» и, высунувшись из люка, швырнул её под ноги немцам.

Вскоре после этого боя Тесаржика вызвали в Москву по самой уважительной и самой радостной причине, которая может быть у солдата. Его вызвали для того, чтобы одному из первых среди чехословацких офицеров вручить орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза.

— Волновались ли вы, когда попали в Кремлёвский дворец и когда вам должны были вручать награду? — спросил я Тесаржика.

— Конечно, — просто сказал он.

И я почувствовал, что, несмотря на всю его сдержанность, он, наверное, тогда, действительно, очень волновался.

После всего пережитого под Черняховом шесть дней, которые прожил в Москве Тесаржик, показались ему давно забытой сказкой, потому что многое, чего люди не замечают в дни мира, в дни войны начинает им казаться почти невозможным счастьем.

Он жил в тихом, уютном номере гостиницы, по утрам с наслаждением влезал в горячую ванну, никуда не торопясь, гулял по улицам Москвы, ходил в Большой театр и слушал музыку, которой он так давно не слышал, ужинал за столом с хрустящей белой скатертью и засыпал, с наслаждением потягиваясь, на прохладном полотне белья.

Всё это продолжалось шесть дней. А на седьмой он снова уехал воевать, и снова замелькали названия украинских городов и сёл, то подожжённых немцами, пылавших и разрушенных, то

целых потому, что танкисты успели вскочить туда раньше, чем немцы начали поджигать.

К Тесаржику вернулись два отремонтированных танка. У него стало их пять. Потом они дрались под Белой Церковью, где он потерял ещё один танк. Потом они участвовали в Корсунь-Шевченковском побоище и потеряли ещё один танк. И только весной, пройдя почти всю Украину, чехословацкий танковый батальон был выведен на переформирование.

Осталось мало машин. Погибло и было тяжело ранено много людей, но зато оставшиеся стали за эти бои ветеранами и были почти все в состоянии сами командовать и учить других.

На основе танкового батальона было решено развернуть чехословацкую танковую бригаду. Советское правительство дало чехословакам новые танки, и нужно было подготовить новые кадры танкистов. Этим и занимался Тесаржик всю весну и половину лета. В августе 1944 года танковая бригада, в которой Тесаржик командовал батальоном, в составе чехословацкого корпуса вступила в бой под Дуклей, у Дуклинского перевала, на чехословацкой границе.

Этой минуты Тесаржик ждал почти шесть лет. Что бы ни было, какими бы потерями ни грозили эти бои, все равно, он ощущал это как счастье.

Город Дукля стоял у самой чехословацкой границы. Вслед за ним начинался знаменитый Дуклинский перевал, за которым была уже Чехословакия.

Условия боя оказались тяжёлыми. Немцы построили здесь прочную оборону и при малейшей

попытке продвижения открывали такой огонь, которого Тесаржик ещё никогда не встречал.

Особенно был силен миномётный огонь. Не было кругом живого места, куда бы не попадала мина. Мины падали так густо, что зачастую перебивали гусеницы.

Осколками мины на танке Тесаржика снесло антенну. Но город Дуклю надо было во что бы то ни стало взять: город запирали на ключ подходы к Дуклинскому перевалу.

Перебитые миной гусеницы ремонтировали прямо на ходу под миномётным огнём. Чтобы лучше и точнее стрелять, несмотря на свистевшие осколки мин, наблюдали и корректировали огонь из открытых люков. Шли вперёд, несмотря на тяжёлые потери. И, в конце концов, к вечеру Дукля была взята.

Теперь впереди оставались высоты, прикрывавшие дорогу на перевал.

Чехословацкая граница была так близко, что если бы она, как на географической карте, была обозначена на земле каким-нибудь красным или чёрным пунктиром, то её можно было бы видеть, открыв люк и поднявшись на башню.

Танки Тесаржика должны были атаковать высоту 694. Он хорошо, на всю жизнь, запомнил это число. Потеряв два танка, Тесаржику удалось остальными подавить и раздавить в буквальном смысле этого слова немецкую противотанковую артиллерию.

Его танк, пройдя первую линию немецких траншей, подходил уже ко второй, как вдруг Тесаржик заметил немца с панцер-фаустом, поднимавшегося в окопе, чтобы выстрелить по танку. Это было совсем близко. Тесаржик опустил пуш-

ку до предела и выстрелил на секунду раньше, чем это успел сделать немец. Снаряд ударил прямо в окоп, и вверх полетели только камни, земля и обрывки чего-то, бывшего за секунду до этого человеческим телом.

На всё это ушло две или три секунды. Но именно в эти две или три секунды второй немец с панцер-фаустом выскочил из траншеи и оказался в мёртвом, непростреливаемом пространстве. Танк в это время шёл в гору, и Тесаржик никак не мог опустить пушку так, чтобы можно было стрелять по этому второму немцу.

Он крикнул водителю, чтобы тот подвинул танк назад, и если бы он успел отъехать вниз хотя бы на десять шагов, он бы расправился с этим немцем. Но прежде чем механик успел выполнить это приказание, немец, положив на плечо трубу панцер-фауста, выстрелил. Снаряд панцер-фауста прожёл танк и разорвался внутри танка.

Все, кроме Тесаржика, были убиты. Танк вспыхнул. В самую секунду взрыва Тесаржик правым глазом приложился к панораме орудия. Только это спасло его от слепоты. Один осколок попал ему в другой глаз. Он почувствовал ужасную боль и на секунду потерял сознание. Ему спалило лицо. На нём загорелась одежда, и именно это привело его в чувство.

Почти механически, не сознавая того, что он делает, оттолкнув мёртвого водителя, он отпустил педаль, и танк пошёл под гору, назад от немецких траншей.

Тесаржик был готов умереть, но больше всего на свете он не хотел попасть в плен к немцам. Как он вылез через люк и вывалился из горящего танка, он потом и сам не мог вспомнить. Но

должно быть полусознательная воля к жизни заставила его сделать это, казалось бы, невозможное. Он вывалился из танка и нашёл в себе силы переворачиваться и ползать по траве, туша на себе горевшую одежду. Потом он потерял сознание, и его подобрали русские санитары.

Так в августе 1944 года он испытал самую горькую неудачу в своей жизни: был в двух шагах от границы своей родины и не смог исполнить свою мечту и перейти её. Тяжело раненый, обожжённый, с обгоревшим лицом, он на долгие месяцы был отправлен в госпиталь.

* * *

Я встретился с Тесаржиком вскоре после его возвращения из госпиталя в бригаду. Памятью о Дуклинском перевале осталась чёрная повязка, пересекавшая его лицо и закрывшая навсегда переставший видеть глаз.

Но пока он лечился, армия воевала, и Дуклинский перевал стал теперь глубоким и даже не прифронтовым тылом. Позади — половина Словакии, а чехословацкая танковая бригада уже на новом участке фронта стояла недалеко от границ Моравии и Чехии, и до Праги было вдвое ближе, чем тогда, когда раненый Тесаржик покинул свою бригаду.

Когда я уходил от него, он, провожая меня, вышел вместе со мной из хаты.

— Ну что же, скоро пойдём в бой, — сказал он. — Кстати, нам наверное придётся переходить через границу Моравии как раз там, где я пересёк её, когда шёл оттуда в 1939 году.

А вот и моя красавица, — сказал он, указав мне на танк.

Стояло рядом три танка. Я не знал, какой из них он называет своей красавицей.

— Какой? — спросил я. — Вот этот?

— Нет, не этот, — почти с удивлением сказал он, как будто я с первого взгляда мог определить, где его красавица.

— Вот этот.

— «Красавица» как раз в этот момент имела не слишком воинственный вид, ибо была замаскирована ветками, какими-то мешками и прочей вытащенной из разбитого дома дребеденью. А на конце длинного ствола пушки, покрытого мешками, весьма прозаично висела большая кастрюля. Но Тесаржик как истинный военный не придавал этому значения и сказал очень серьёзно и убеждённо:

— Хорошая машина. С такими машинами можно далеко идти.

Прошла неделя со времени нашей встречи. На участке, на котором наши войска снова перешли в наступление, в ту самую секунду, как кончилась артиллерийская подготовка, мимо наблюдательного пункта, на котором мы находились, по шоссе вперёд тронулись танки. Это были танки чешской бригады.

На головном танке, открыв люк, во весь рост стоял танкист-офицер в кожаной куртке и, сняв шлем, приветственно махал бежавшей вслед за танками по обеим сторонам шоссе пехоте.

Я не мог издали рассмотреть, кто был этот танкист, но мне почему-то показалось, что это был Тесаржик.

3 апреля, в мягкий, почти летний вечер, чехословацкий город Кошица выглядел так торжественно и празднично, как вообще, наверное, не выглядел ни один город страны за все шесть лет со времени вторжения в неё немцев.

Из окон, с крыш, с балконов свешивались полотнища красных советских и трехцветных чехословацких флагов. Огромные толпы празднично одетых людей окружали здание городского театра. Над головами их поднимались знамёна, полотнища лозунгов, портреты Сталина и Бенеша. Город ждал приезда Бенеша.

После шестилетнего отсутствия президент возвращался в свою родную страну, уже наполовину освобождённую от немцев кровью и мужеством русских и чехословацких солдат. Над городом царил торжественная тишина.

Приезда президента ждали с минуты на минуту. Вдруг толпа совсем притихла. По улице, шедшей с востока, со стороны Гуменне, одна за другой прошелестели несколько машин и резко затормозили около здания театра. Встречавшие сорвались с места. Кто-то открыл дверцу первой машины, и из неё вылез небольшого роста человек с обнажённой, совершенно седой головой. Это был Бенеш.

Толпа, заполнявшая улицы города, закричала: «На здар!» Тамбур-мажор, стоявший во главе чехословацкого военного оркестра, поднял огромную булаву с медным шаром на конце, взмахнул ею, и вся площадь обнажила головы. Играли чехословацкий национальный гимн. Вслед за зву-

ками чехословацкого гимна полились плавные звуки нашего, советского.

Площадь вся стояла, обнажив головы, и безмолвно, навывтяжку, замерли оба почётных караула — чехословацкий и советский. Когда кончили играть гимны, президент, в сопровождении чехословацких и советских генералов, стал обходить почётный караул. К первому он подошёл к чехословацкому караулу.

Отделившись от строя, навстречу президенту сделал шаг вперёд высокий офицер в полной походной форме и в стальной каске. Он отрапортовал президенту. Тот пожал ему руку и двинулся вдоль почётного караула. Офицер повернулся и, обходя почётный караул, пошёл вслед за президентом.

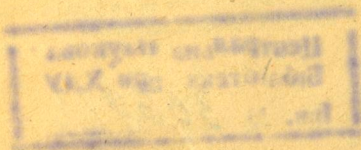
Только теперь, когда он повернулся, я заметил на груди его звезду Героя Советского Союза и чёрную полосу повязки, пересекавшую его лицо и закрывавшую один глаз.

Это был Тесаржик. На его долю выпала честь на освобождённой родной земле первому из чехословацких военных рапортовать президенту. И он поистине заслужил эту честь единственным, чем может заслужить эту честь солдат: мужеством, презрением к смерти, непоколебимой верностью своей родине.



СОДЕРЖАНИЕ

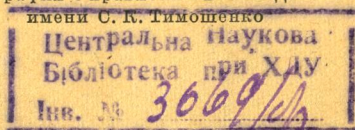
	Стр.
Генерал Свобода	3
Встреча в Куманче	18
Дочь народа <i>и</i>	38
Танкист из Праги	57



Редактор *Р. М. Воронова*
Технический редактор *Е. К. Коновалова*
Корректор *М. С. Тенер*

Г800694.	Подписано к печати 16.7.45.	Объем 2,5 п. л.
3 уч.-авт. л.	Изд. № 334.	Зак. 503.

1-я типография Управления Воениздата НКО
имени С. К. Тимошенко



From the story of

